

- [Патрик Зюскинд](#)

- 



## Патрик Зюскинд

### Голубь

Когда произошла эта история с голубем, перевернувшая вверх дном его однообразную жизнь, Джонатану Ноэлю было уже за пятьдесят. Он, оглядываясь назад на абсолютно бессобытийные двадцать лет своей жизни, не мог себе даже представить, что с ним вообще может произойти что-либо существенное, разве что только смерть. И это более чем устраивало его. Ибо не хотел он никаких событий и ненавидел те из них, которые нарушали внутреннее равновесие и ломали внешний уклад жизни.

К счастью, большинство из событий такого рода были в далеком прошлом серых лет его детства и юности, он предпочитал не вспоминать о тех временах, а если приходилось, то это вызывало глубоко неприятные ощущения: о том, хотя бы, летнем дне июля 1942 года в Шарантоне, когда он возвращался с рыбалки домой — в тот день после длительной жары была гроза, а затем шел дождь, по дороге домой он снял обувь, вышагивал голыми ногами по теплomu мокрому асфальту, шлепал по воде, неопиcуемое удовольствие... — итак, он пришел с рыбалки домой и забежал на кухню, ожидая увидеть у плиты мать. Но матери там не было, был только ее фартук, который висел на спинке стула. Отец сказал, что мать уехала, что ей пришлось уехать надолго. Ее забрали, так говорили соседи, вначале она была доставлена в Велодром д'Ивер, а затем переведена в лагерь под Дранси, из которого отправляют на восток, а оттуда уже никто не возвращается. Джонатан не понимал, что же произошло, но происшедшее повергло его в полное замешательство, а потом, пару дней спустя, исчез и отец. Джонатан и его младшая сестренка внезапно оказались в поезде, идущем на юг. Ночью совершенно незнакомые мужчины вели их через луга, затем тащили по перелеску, снова сажали в поезд, идущий на юг, далеко, непредставимо далеко, и дядя, которого они до этого еще ни разу не видели, встретил их в Кавайоне, отвез на свой крестьянский двор вблизи селения Пюже в долине Дюранс и прятал их там до конца войны. Затем они начали работать на овощном поле.

В начале пятидесятых — а Джонатан как раз начал находить удовольствие в существовании сельскохозяйственного рабочего — дядя потребовал от него записаться на военную службу, и Джонатан послушно заключил контракт на три года. В течение первого года единственное, чем

он занимался, было привыкание к весомым неприятностям казарменной жизни в окружении всякого сброда. На втором году службы его отправили в Индокитай. Ну а большую часть третьего года своей службы Джонатан провел в лазарете с огнестрельным ранением в ногу и амёбной дизентерией. Когда весной 1954 года он вернулся в Пюже, сестры там уже не было, все считали, что она уехала в Канаду. На этот раз дядя потребовал, чтобы Джонатан немедленно связал себя узами брака, и ни с кем иным, а с девушкой по имени Мари Бакуш из соседнего местечка Лори. И Джонатан, который эту девушку еще ни разу не видел, послушно согласился сделать то, что велели, он пошел на это даже с охотой, ибо, имея самое туманное представление о браке, он лелеял надежду найти в нем то состояние монотонного покоя и отсутствия событий, которого он единственно жаждал. Но уже через четыре месяца Мари родила мальчика и той же осенью сбежала с тунисским торговцем овощами из Марселя.

Из всех этих перипетий Джонатан Ноэль сделал вывод, что на людей положиться нельзя и что жить можно только тогда, когда ни с кем не сходишься близко. А поскольку он, помимо прочего, стал еще и посмешищем для всей деревни, — его беспокоил, впрочем, не сам факт насмешек, а внимание людей, — то это вынудило его первый раз в своей жизни принять самостоятельное решение: он пошел в банк "Креди Агриколь", снял свои сбережения, уложил чемодан и отправился в Париж.

Там ему дважды крупно повезло. Он нашел работу охранника в одном банке на Рю де Севр и ему удалось найти жилище, так называемую "комнату для прислуги" на шестом этаже одного из домов на Рю де ля Планш. К комнате можно было пройти через внутренний двор, узкую лестницу хозяйственного входа и неширокий, слабо освещенный одним окном коридор. Пара дюжин комнат с серыми пронумерованными дверями выходила в этот коридор, в самом конце коридора была дверь с номером 24, это и была комната Джонатана. Три метра сорок в длину, два метра двадцать в ширину и два метра пятьдесят в высоту, комната располагала кроватью, столом, стулом, лампочкой и крючком для одежды, этим комфорт и ограничивался. Лишь в шестидесятых электропроводка была усилена таким образом, что можно было подключать электроплитку и электрокамин, была проведена вода и комнату оснастили отдельным умывальником и бойлером. А до того все жильцы чердачного этажа, если они не пользовались запрещенными спиртовками, ели всухомятку, спали в холодных комнатах, стирали свои носки, мыли пару своих тарелок и себя самих холодной водой в единственной раковине в коридоре, как раз рядом с дверью в общий туалет. Но Джонатану все это не мешало. Он искал не

удобств, он стремился к надежному убежищу, которое бы принадлежало ему и только ему, которое защитило бы его от неприятных неожиданностей жизни и из которого его уже никто и никогда не смог бы прогнать. И, войдя в первый раз в комнату под номером 24, он сразу же понял: это то, к чему он, собственно говоря, всегда стремился, и здесь ему суждено остаться. (Точно так, как это будто бы происходит с некоторыми мужчинами, которые влюбляются с первого взгляда, когда они мгновенно осознают, что женщина, которую они видят впервые, есть женщина всей жизни, и они обладают ею и остаются с ней до конца своих дней).

Джонатан Ноэль снимал эту комнату за пять тысяч старых франков в месяц, каждое утро ходил оттуда на близлежащую Рю де Севр на работу, вечером возвращался с хлебом, колбасой, яблоками и сыром, ел, спал и был счастлив. В воскресенье он вообще не выходил из своей комнаты, а делал уборку и застилал свою кровать свежими простынями. Так он и жил в покое и согласии из года в год, десятилетие за десятилетием.

С течением времени некоторые внешние вещи менялись, тот же размер платы за комнату или соседи по коридору. В пятидесятые годы в других комнатах жили еще много молоденьких служанок, а также молодые супружеские пары и некоторые пенсионеры. Позже можно было часто увидеть, как заезжают и выезжают испанцы, португальцы и североафриканцы. С конца шестидесятых большинство стали составлять студенты. В конечном итоге стали сдаваться не все из двадцати четырех комнат. Многие пустовали или служили своим владельцам, которые проживали в хозяйских покоях на нижних этажах, в качестве кладовок или использовались лишь периодически как гостиничные номера. Комната 24, в которой жил Джонатан, с годами превратилась в сравнительно комфортабельное жилище. Он купил себе новую кровать, установил шкаф, покрыл семь с половиной квадратных метров пола серым ковром, оклеил свой кухонный и моечный уголок красивыми моющимися обоями красного цвета. У него был радиоприемник, телевизор и уют. Свои продукты питания он больше не вывешивал, как раньше, в мешочке за окно, а хранил их в крошечном холодильнике под моечной раковиной, так что даже в самое жаркое лето масло у него больше уже не таяло, а ветчина не засыхала. У изголовья кровати он пристроил полку, на которой стояло не менее семнадцати книг, в том числе трехтомный медицинский словарь карманного формата, красиво иллюстрированные томики о кроманьонцах, технике литья бронзового века, древних египтянах, этрусках и французской революции, книга о парусных судах, одна книга о флагах, еще одна — о животном мире тропиков, два тома Александра Дюма-старшего, мемуары

Сен-Симона, поваренная книга о приготовлении густых супов, заменяющих первое и второе блюда, "Малый Лярусс" и "Памятка для охранников", в которой особое внимание уделялось правовой регламентации применения служебного оружия. Под кроватью хранилась дюжина бутылок красного вина, в том числе бутылочка "Шато Шваль Блан", которую он хранил на день своего выхода на пенсию в 1998 году. Придуманная им система электрического освещения давала Джонатану возможность сидеть в трех различных местах своей комнаты, а именно — у изголовья или в ногах своей кровати, а также за своим столиком, и читать газету, свет при этом не ослеплял и на газету не падала тень.

Из-за такого количества приобретений комната, конечно, уменьшилась еще больше, она обросла изнутри подобно раковине, покрывающейся слишком толстым слоем перламутра, и стала, благодаря своему разнообразному изощренному оснащению, больше похожа на каюту корабля или на оборудованное по высшему классу купе спального вагона, чем на простую "комнату для прислуги". И на протяжении более тридцати лет она сохранила одно важное свойство: она была и оставалась для Джонатана надежным островом в ненадежном мире, она оставалась его твердой опорой, его убежищем, его возлюбленной, да, его возлюбленной, потому что его маленькая комнатка нежно обнимала его, когда он вечером возвращался домой, она грела и защищала его, она питала его душу и тело, была всегда там, где он нуждался в ней, и она не бросала его. Она действительно была тем единственным, что показало себя в его жизни надежным. Поэтому никогда ни на мгновение его не посещала мысль о том, чтобы расстаться с ней, даже теперь, когда ему было уже за пятьдесят и становилось иногда трудно подниматься к ней, преодолевая столько ступенек, и когда его зарплата могла бы позволить ему снимать настоящую квартиру с собственной кухней, отдельным туалетом и ванной. Он сохранил верность своей возлюбленной и даже намеревался еще теснее привязать себя к ней, а ее — к себе. Купив ее, он стремился сделать свою связь с ней нерасторжимой навеки. Он уже подписал соответствующий договор с владелицей — мадам Лассаль. Стоимость комнаты была определена в пятьдесят пять тысяч новых франков. Сорок семь тысяч он уже уплатил. Оставшиеся восемь тысяч подлежали уплате в конце года. А после этого она будет окончательно его, и ничто на свете не сможет их разлучить, его, Джонатана, и его любимую комнату, до тех пор, пока их не разлучит смерть.

Именно таким было положение дел в пятницу утром августа 1984 года, когда произошла вся эта история с голубем.

Джонатан только что встал. Он одел тапочки и домашний халат, чтобы, как и каждое утро перед бритьем, сходить в общий туалет. Перед тем как открыть дверь, он приложил ухо к дверному полотну и прислушался, нет ли кого-нибудь в коридоре. Он не любил встречаться с соседями, особенно утром в пижаме и домашнем халате, а уж тем более — по дороге в туалет. Для него было бы достаточно неприятно обнаружить туалет занятым; мучительно ужасным для него было даже представить, что он встретит кого-нибудь из соседей *перед* туалетом. С ним это случилось один единственный раз, летом 1959 года, двадцать пять лет тому назад, и его охватывала дрожь при одном воспоминании об этом: одновременный испуг при виде другого, одновременная потеря скрытности намерения, в чем оно так нуждается, одновременное топтание и снова попытка подойти, одновременно вымучиваемые любезности, прошу, после Вас, о нет, после Вас, мосье, я вовсе не спешу, нет-нет, вначале Вы, я настаиваю — и это все в пижаме! Нет, он не хотел бы пережить подобное еще раз, и подобное с ним больше никогда и не случилось — благодаря его профилактическому подслушиванию. Прислушиваясь, он выглянул из двери в коридор. Ему был известен каждый звук на этаже. Он мог бы объяснить каждый треск, каждый щелчок, каждый тихий всплеск или шорох, да даже самую тишину. И сейчас, приложив ухо к двери всего лишь на пару секунд, он знал наверняка, что в коридоре нет ни одной живой души, что туалет свободен и что все еще спит. Левой рукой он повернул ручку автоматического замка с секретом, правой — ручку защелкивающегося замка, язычок замка отошел назад, он легонько толкнул дверь, и она приоткрылась.

Он уже почти что переступил через порог, он уже поднял ступню, левую, его нога уже вознамерилась сделать шаг — когда он увидел его. Тот сидел перед его дверью, не далее чем в двадцати сантиметрах от порога, в слабом отблеске утреннего света, проникающего через окно. Своими красными когтистыми лапками он расположился на нелепо кровавом кафеле коридора, с бледно-серым гладким оперением: голубь.

Он наклонил головку в сторону и уставился на Джонатана своим левым глазом. В глаз этот, маленькую, округлую шайбочку коричневого цвета с черной точкой посередине, было страшно смотреть. Он выглядел словно пришитая на оперенье головки пуговица, без ресниц, без бровей, абсолютно голая, вывернутая наружу безо всякого стыда и до жуткого откровенно; одновременно в этом глазу светилось какое-то скрытое лукавство; и в то же время казалось, что он ни откровенен, ни лукав, а просто напросто — неживой, словно объектив камеры, вбирающий в себя весь внешний свет и не выпускающий обратно изнутри ни единого луча. В

этом глазу не было ни блеска, ни отблеска, ни даже намек на то, что он живой. Это был глаз без взгляда. И вот он уставился на Джонатана.

Последний был до смерти напуган — так наверняка описал бы он этот момент впоследствии, но это было не так, ибо испуг пришел позже. Намного вернее было то, что он был до смерти удивлен.

На протяжении, вероятно, пяти, а может быть десяти секунд — ему самому все это казалось вечностью — стоял он словно замороженный на пороге собственной двери, положив руку на ручку замка и приподняв ступню для шага, и не мог двинуться ни вперед, ни назад. Затем произошло небольшое шевеление. Переступил ли голубь с одной ножки на другую, или же он просто немножко встопорщил свои перья — в любом случае по его телу пробежала волна шевеления и одновременно над его глазом захлопнулись два века, одно снизу, другое сверху, собственно говоря — не веки это были в правильном понимании, а скорее какие-то резинообразные заслонки, которые проглотили глаз, словно возникшие из ниоткуда губы. На какое-то мгновение глаз исчез. И только теперь Джонатана охватил страх, только теперь его волосы встали дыбом от ничем не прикрытого ужаса. И прежде чем голубь снова открыл свой глаз, Джонатан одним рывком запрыгнул обратно в комнату и захлопнул дверь. Он повернул ручку автоматического замка с секретом, сделал шатаясь три шага к кровати, сел, дрожа всем телом, сердце его колотилось в диком ритме. Лоб был ледяной, но он ощутил, как по затылку, вдоль позвоночника струится пот.

Первой его мыслью было, что теперь его хватит инфаркт или апоплексический удар, или, по крайней мере, сосудистый коллапс. Ты как раз в подходящем для всего этого возрасте, подумал он, после пятидесяти достаточно малейшего повода для такой неприятности. Боком он упал на кровать, натянул на свои бьющиеся в ознобе плечи одеяло и стал ожидать спастических болей, ощущения покалывания в груди и между лопатками (в своем карманном справочнике он как-то читал, что это несомненные симптомы приближающегося инфаркта) или медленного угасания сознания. Но ничего подобного не происходило. Биение сердца успокоилось, кровообращение в голове и конечностях снова нормализовалось, типичные для апоплексического удара явления паралича не возникали. Джонатану удалось пошевелить пальцами рук и ног, скорчить на лице гримасы, признак того, что органически и неврологически все в какой-то мере было в порядке.

Вместо этого в его мозгу роилась беспорядочная масса абсолютно несогласованных между собой страшных мыслей, словно стоя черного

воронья, она кричала и порхала в его голове, "тебе конец!" — каркала она, "ты стар и тебе конец, ты до смерти испугался голубя, голубь загнал тебя обратно в твою комнату, свалил тебя, держит тебя под стражей. Ты умрешь, Джонатан, ты умрешь, если не сейчас, то — скоро, и жизнь твоя была фальшивой, ты прожил ее бесполезно, потому что поколебать ее может даже какой-то голубь, тебе нужно убить его, но ты не сможешь его убить, ты не можешь убить даже муху, да нет же, муху — можешь, вот именно — муху, или комара, или маленького жучка, но — никогда это теплокровное существо, такое, весящее около фунта, теплокровное создание, как голубь, ты скорее застрелишь человека: пиф-паф — это быстро, в результате этого — только маленькая дырочка, восемь миллиметров в диаметре, это чистая работа и это разрешено, разрешено в случае самообороны, параграф первый "Служебной инструкции для вооруженных охранников", это даже предлагается, и ни один человек не упрекнет тебя, если ты застрелишь человека, наоборот, но голубя?, как расстреливают голубя?, он, голубь, порхает, легко промазать, это хулиганство, стрелять в голубя, это запрещено, это ведет к изъятию служебного оружия, потере рабочего места, тебя посадят в тюрьму, если ты будешь стрелять в голубя, нет, ты не можешь его убить, но жить, жить с ним ты тоже не можешь, никогда, в доме, где обитает голубь, человек жить больше не может, голубь — воплощение хаоса и анархии, голубь — это не поддающееся осмыслению мельтешение вокруг, это цепляние когтями и выклевание глаз, голубь — это постоянная грязь и распространение ужасных бактерий и вируса менингита, он не будет жить один, этот голубь, он привлечет других голубей, они будут спариваться и размножаться, потрясающе быстро, ты будешь обложен полчищем голубей, ты не сможешь больше выходить из своей комнаты, умрешь от голода, задохнешься в своих экскрементах, тебе придется выброситься из окна и лежать разбитым на тротуаре, нет, ты слишком труслив, ты останешься в своей закрытой комнате и будешь вопить о помощи, ты будешь звать пожарных, чтобы приехали с лестницами и спасли тебя от голубя, от голубя!, ты станешь посмешищем для дома, посмешищем для всего квартала. "Смотрите, мосье Ноэль! — будут кричать и показывать на тебя пальцем. — Смотрите, мосье Ноэля спасали от голубя!" И тебя отправят в психиатрическую клинику: о, Джонатан, Джонатан, твое положение безнадежно, ты пропал, Джонатан!"

Так кричало и каркало у него в голове, и Джонатан пребывал в таком смятении и отчаянии, что он сделал кое-что из того, что никогда не делал с детских лет, в своем горе он сложил руки в молитве и начал молиться. "Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? Почему я так наказан тобой?"



Отче наш сущий на небесах, спаси меня от этого голубя, аминь!" Это была, как мы видим, не совсем обычная молитва, это был скорее слепленный из обломков воспоминаний его рудиментарного религиозного воспитания лепет, выдавливаемый из себя. И все-таки он помог, потому что потребовал от него определенную степень душевной концентрации и разогнал сумбур в его мыслях. Кое-что помогло ему еще сильнее. Едва успев дочитать до конца свою молитву, он ощутил такой настоятельный позыв пописать, что понял, что он может обдуть свою кровать, на которой лежал, симпатичный пуховый матрац или даже красивый серый ковер, если ему не удастся в течение ближайших секунд облегчиться как-нибудь по-другому. Это полностью привело его в чувство. Постановая он встал, бросил на дверь взгляд, полный отчаяния... — нет, он не может пойти в эту дверь, даже если эта чертова птица улетела, до туалета ему уже не дотянуть — подошел к умывальнику, распахнул халат, сдернул пижамные штаны вниз, открыл воду и пописал в раковину.

Такое он делал первый раз. Ужас охватывал при одной только мысли о том, что можно так запросто пописать в красивый, белый, отдраенный до блеска умывальник, предназначенный для мытья посуды и умывания! Он бы никогда не поверил, что может пасть так низко, что физически вообще окажется в состоянии совершить такое святотатство. А теперь, когда он видел, как свободно и безо всякой задержки лилась его моча, смешивалась с водой и с бурлением уходила в сливное отверстие, и когда он ощутил чудное ослабление напряжения в нижней части живота, одновременно с этим из его глаз хлынули слезы, так стыдно ему было. Закончив писать, он на какое-то время оставил воду открытой, и затем, чтобы устранить даже малейшие следы совершенного злодеяния, тщательнейшим образом вычистил раковину жидким моющим средством. "Один раз не в счет, — бормотал он себе под нос, словно извиняясь перед умывальником, перед комнатой да и перед самим собой, — один раз не в счет, это было разовое затруднительное положение, такое больше никогда не повторится..."

Теперь он немного успокоился. Вытирание, убирание на место бутылки с моющим веществом, отжимание тряпки — часто проделываемые операции, в которых находишь утешение, — вернули его мысли снова в прагматическое русло. Он посмотрел на часы. Было как раз четверть восьмого. Обычно к четверти восьмого он бывал уже побрит и завершал уборку своей кровати. Но отставание от обычного режима не было таким уж большим, и, при необходимости, его можно было бы ликвидировать, отказавшись от завтрака. Отказавшись от завтрака, подсчитал он, удалось бы даже опередить обычный временной график на семь минут.

Определяющим было то, что он должен был выйти из своей комнаты не позже пяти минут девятого, потому что в четверть девятого ему необходимо было быть уже в банке. Хотя он еще и не знал, как уладить все это, у него все-таки еще было в запасе три четверти часа. А это много. Если только что он смотрел смерти в глаза и едва избежал инфаркта, то три четверти часа — это много времени. Это время вдвойне, если больше не находишься под настоятельной необходимостью опорожнить свой переполненный мочевой пузырь. И он решил, во-первых, вести себя так, словно ничего не случилось, и продолжать заниматься своими обычными утренними делами. Он открыл над умывальником горячую воду и побрился.

Во время бритья он основательно размышлял. "Джонатан Ноэль, — сказал он себе, — в течение двух лет ты был солдатом в Индокитае и справлялся там со многими затруднительными ситуациями. Если ты соберешь все свое мужество и сосредоточишься, если ты соответственно подготовишься и если тебе повезет, то ты все-таки должен прорваться из этой комнаты. Но если ты даже прорвешься, то что дальше? Что, если ты действительно проскользнешь мимо этого ужасного животного перед дверью, невредимым достигнешь лестничной клетки и окажешься в безопасности? Ты сможешь пойти на работу, целым и благополучным ты сможешь пережить этот день, но что ты будешь делать потом? Куда ты пойдешь сегодня вечером? Где проведешь ночь?" Потому что для него было абсолютно очевидно, что, убежав от голубя однажды, у него нет ни малейшего желания встречаться с ним во второй раз, что он ни при каких обстоятельствах не сможет жить с этим голубем под одной крышей, ни единого дня, ни единой ночи, ни часа. Следовательно, ему нужно быть готовым к тому, что эту ночь, а может и последующие ночи он проведет в каком-нибудь пансионе. А это означает, что бритвенный прибор, зубную щетку и сменное белье ему придется взять с собой. Далее ему понадобится его чековая книжка, а для верности еще и сберегательная книжка. На жиросчете у него было тысяча двести франков. Этого должно хватить на две недели при условии, что он найдет дешевую гостиницу. Если голубь и тогда будет продолжать блокировать его комнату, ему придется залезть в свои сбережения. На сберегательном счете лежали шесть тысяч франков, куча денег. На них он сможет жить, в гостинице месяц. К тому же он получает еще и свое жалование, три тысячи семьсот франков в месяц чистыми. С другой стороны, в конце года мадам Лассаль необходимо уплатить восемь тысяч франков последнего взноса за комнату. За его комнату. За эту комнату, в которой и жить то ему может быть больше не

придется. Как объяснить мадам Лассаль свою просьбу об отсрочке последнего взноса? Вряд ли он сможет ей сказать: "Мадам, я не могу заплатить Вам последний взнос в размере восьми тысяч франков, потому что вот уже несколько месяцев я живу в гостинице из-за того, что комнату, которую я хочу у Вас купить, заблокировал голубь". Вряд ли он сможет такое сказать... Тут он вспомнил, что у него есть еще пять золотых монет, пять наполеондоров, каждый из которых стоит целых шестьсот франков, он приобрел их, опасаясь инфляции, в 1958 году, во время войны в Алжире. Ни в коем случае не забыть бы взять с собой эти пять наполеондоров... Кроме того у него был узенький золотой браслет его матери. И транзисторный приемник. И аристократическая, покрытая серебром шариковая ручка, какие к Рождеству получили все служащие банка. Продав все эти сокровища, он смог бы, при максимальной экономности, жить в гостинице до конца года и уплатить все-таки мадам Лассаль эти восемь тысяч франков. А с первого января ситуация вполне может измениться к лучшему, он станет уже владельцем комнаты и ему не придется больше платить за ее поднаем. К тому же голубь может и не пережить зиму. Как долго живут голуби? Два года, три, десять? А может этот голубь уже старый? Может через неделю он умрет? Может уже сегодня. Может он вообще приковылял сюда умирать...

Он закончил бриться, спустил воду из раковины, ополоснул ее, снова налил воды, обмылся до пояса и помыл ноги, почистил зубы, снова спустил воду из раковины и дочиста вытер ее тряпочкой. Затем он убрал свою кровать.

Под шкафом у него стоял чемодан из прессованного картона, в котором он хранил свое грязное белье, прежде чем отнести его в прачечную, что он делал раз в месяц. Он вытащил чемодан, вытряхнул его содержимое и поставил на кровать. Это был тот самый чемодан, с которым он в 1942 году переехал из Шарантона в Кавайон, тот самый, с которым он в 1954 году приехал в Париж. И когда он увидел стоящим на кровати этот старый чемодан и начал укладывать в него не грязное, а свежее белье, пару полуботинок, туалетный набор, чековую книжку и драгоценности, как будто он собирался в дорогу, слезы снова хлынули у него из глаз, на этот раз не от стыда, а от глубокого отчаяния. У него было ощущение, словно жизнь отбросила его на тридцать лет назад, словно он потерял тридцать лет своей жизни.

Когда он закончил укладывать чемодан, было без четверти восемь. Он оделся, вначале — привычная форма: серые брюки, голубая рубашка, кожаная куртка, кожаный поясной ремень с кобурой для пистолета, серая

служебная фуражка. Затем он приготовился ко встрече с голубем. Наибольшее отвращение он испытывал при мысли о том, что голубь может прикоснуться к нему, клюнуть его в щиколотку, взлетев, коснуться его рук или шеи своими крыльями, или даже сесть на него своими когтистыми лапками. Поэтому он одел не свои легкие полуботинки, а прочные высокие ботинки с подошвой из бараньей шкуры, которые он обычно одевал только в январе или феврале, быстро натянул на себя зимнее пальто, застегнул его на все пуговицы, замотал шею аж под подбородок шерстяным шарфом и защитил руки кожаными перчатками на меху. В правую руку он взял зонтик. Экипировавшись таким образом, без семи-восьми он был уже подготовлен к прорыву из своей комнаты.

Он снял служебную фуражку и приложил ухо к двери. Ничего не было слышно. Он снова надел фуражку, сильно натянув ее на лоб, взял чемодан и поставил его рядом с дверью. Чтобы освободить правую руку, он повесил зонтик на запястье правой руки и ухватился ею за ручку двери, а левой — за ручку автоматического замка, оттянул защелку и чуть приоткрыл дверь. Затем приложился одним глазом к щелочке.

Голубя перед дверью больше не было. На кафельной плитке, где он сидел, виднелось только пятно изумрудно-зеленого цвета размером с пятифранковую монетку и крошечная белая пушинка, которая тихонечко дрожала на сквозняке, идущем из приоткрытой двери. От отвращения Джонатана аж передернуло. Охотнее всего он снова захлопнул бы дверь. Его инстинктивная натура стремилась скользнуть обратно, назад в безопасную комнату, прочь от того ужаса, который снаружи. Но затем он увидел, что пятно там не одно, а что там — много пятен. Весь кусок коридора, который он мог охватить взглядом, был покрыт этими изумрудно-зелеными с отблеском влаги пятнами. И тут произошло нечто странное, множество этих мерзостей не только не усилили отвращение Джонатана, а напротив — укрепили его волю к сопротивлению: увидев это единственное пятно и эту единственную пушинку, он, конечно, лучше скользнул бы обратно и запер бы дверь, навсегда. Но то, что голубь, очевидно, загадил весь коридор — это явление он вообще ненавидел — мобилизовало все его мужество. И он открыл дверь полностью.

Теперь он увидел голубя. Тот сидел справа на удалении метра-полтора, забившись в угол в самом конце коридора. Там было так темно, и Джонатан бросил в том направлении только один короткий взгляд, что ему было не разобрать, спит голубь или бодрствует, закрыты его глаза или открыты. Да он и не хотел этого знать. Лучше бы он его вообще не видел. В книге о тропических животных он как-то прочитал, что некоторые

животные, прежде всего орангутанги, только тогда бросаются на людей, когда те смотрят им в глаза; если их проигнорировать, то они оставляют в покое. Может это верно и для голубей. Джонатан решил в любом случае действовать так, словно голубя больше нет, или, по крайней мере, больше на него не смотреть.

Он медленно выдвинул чемодан в коридор, очень медленно и осторожно продвинул его между зелеными пятнами. Затем он открыл зонтик, удерживая его левой рукой словно щит перед лицом и грудью, вышел в коридор, продолжая смотреть на пятна на полу, и закрыл за собой дверь. Невзирая на все установки действовать, словно ничего не произошло, его снова охватил страх, сердце колотилось так, будто было готово выскочить из груди, и когда ему не сразу удалось достать пальцами одетой в перчатку руки ключ из кармана, то от нервного напряжения он стал так дрожать, что у него чуть не выскользнул зонтик, и пока он хватался за него правой рукой, чтобы попрочнее зажать его между плечом и щекой, ключ действительно свалился на пол, на волосок от пятна, чтобы поднять его, ему пришлось наклоняться, и прежде чем попасть в отверстие для ключа и повернуть два раза, он, надежно зажав его наконец-то пальцами, от волнения раза три тыкал им и не попадал. В этот момент ему показалось, что он слышит за собой хлопанье крыльев... или он просто зацепился зонтиком за стену?. . Но потом он услышал этот звук снова, однозначно, короткий, сухой хлопок крыльями, и тут его охватила паника. Он выдернул ключ из замка, рванул к себе чемодан и кинулся со всех ног прочь. Раскрытый зонтик царапал стену, чемодан стучал по дверям других комнат, посередине коридора путь преграждали половинки открытого окна, он протиснулся мимо них, волоча за собой зонтик с такой силой и нерасторопностью, что натянутый материал превратился в клочья, но он не обращал на это внимание, ему было на все наплевать, единственное, к чему он стремился, — прочь, прочь, прочь отсюда.

Лишь достигнув лестничной площадки, он на мгновение остановился, чтобы сложить зонтик, который мешал, и оглянулся назад: яркие лучи утреннего солнца проникали сквозь окно, в сумерках коридора они выделяли резко очерченную полосу света. Через нее почти ничего не было видно, и лишь прищурившись и всмотревшись повнимательнее, Джонатан заметил, как из темного угла в дальнем конце коридора возник голубь, сделал вперед по коридору несколько быстрых раскачивающихся шажков, а затем снова присел, как раз напротив двери его комнаты.

В ужасе он отвернулся и кинулся по лестнице вниз. В этот момент он был уверен, что возвратиться сюда он уже никогда не сможет.

С каждой ступенькой он успокаивался. На лестничной площадке второго этажа его вдруг обожгла мысль, что он все еще одет в зимнее пальто, шарф и ботинки на меховой подкладке. В любой момент из дверей, которые вели из кухонь хозяйских покоев на заднюю лестницу, могла выйти служанка, идущая за покупками, или мосье Риго, выставяющий свои пустые бутылки из-под вина, или, чего доброго, сама мадам Лассаль, по какой бы то ни было причине — она вставала рано, мадам Лассаль, она и сейчас уже встала, по всей лестничной клетке разносился проникающий аромат ее кофе, — ну и мадам Лассаль открыла бы теперь заднюю дверь своей кухни, а перед ней на лестничной площадке стоит он, Джонатан, в своем карикатурном зимнем одеянии при ясном августовском солнышке — от такой неловкой ситуации так просто не отделаться, ему придется объясняться, но как?, ему придется что-то соврать, но что? Для его теперешнего появления не существует приемлемого объяснения. Его можно принять только за сумасшедшего. Может он и есть сумасшедший.

Он поставил чемодан, достал из него пару полуботинок и быстро стянул с себя перчатки, пальто, шарф и ботинки; надел полуботинки, уложил в чемодан шарф, перчатки и ботинки, перекинул пальто через руку. Теперь, как казалось ему, его внешность снова ни у кого не будет вызывать недоуменных вопросов. В случае необходимости он всегда может сказать, что несет свое белье в прачечную, а зимнее пальто — в химчистку. С заметным облегчением он продолжил свой спуск по лестнице.

Во внутреннем дворе ему встретилась консьержка, которая как раз завозила с улицы на тележке пустые мусорные баки. Он мгновенно ощутил себя застигнутым врасплох и остановился. Ретироваться в темноту лестничной клетки он не мог, поскольку она его уже увидела, ему пришлось продолжить свой путь.

— Добрый день, мосье Ноэль, — сказала она, когда он проходил мимо нее намеренно бодрым шагом.

— Добрый день, мадам Рокар, — пробормотал он. Больше этого они никогда ничего друг другу не говорили. На протяжении десяти лет — а столько служила она в этом доме — он не сказал ей ни слова больше, чем "добрый день, мадам" и "добрый вечер, мадам" и еще "спасибо, мадам", когда она отдавала ему почту. Не то, чтобы он что-то имел против нее. Она не была неприятным человеком. Она ничем не отличалась от своей предшественницы и от своей предпредшественницы. Она была как все консьержки: неопределенного возраста, где-то между сорока и шестидесятью; переваливающаяся, как у всех консьержек, походка, полноватая фигура, бледно-землистый цвет лица и запах гнили. Она, если

не ввозит или вывозит мусорные баки, убирает лестницу или быстро делает свои покупки, то сидит в неоновом свете в своей маленькой комнатке в проходе между двором и улицей, смотрит телевизор, шьет, утюжит, готовит или наливается дешевым красным вином и вермутом, точно так же, как поступала бы любая другая консьержка. Нет, он действительно ничего не имел против нее. Он просто питал какое-то предубеждение против консьержек как таковых, ибо консьержки — это люди, которые в силу своих обязанностей постоянно наблюдают за другими людьми. И мадам Рокар, в частности, была тем, кто постоянно наблюдал, и в частности за ним, Джонатаном. Было абсолютно невозможно пройти мимо мадам Рокар, чтобы она не приняла это к сведению, и это — всего лишь мгновенным, почти неуловимым взглядом. Даже если она засыпала в своей комнатке, сидя на стуле, что бывало, в основном, в послеобеденные часы и после ужина, достаточно было малейшего скрипа входной двери, чтобы она на пару секунд проснулась и заметила проходящего. Ни одна живая душа на свете не принимала Джонатана так часто и так внимательно к сведению, как мадам Рокар. Друзей у него не было. В банке он был составной, так сказать, частью инвентаря. Клиенты воспринимали его не как человека, а как бутафорию. В супермаркете, на улице, в автобусе (когда ж это он ездил автобусом!) его анонимность сохранялась в массе других людей. Лишь мадам Рокар, и только она одна, знала и узнавала его ежедневно и минимум дважды в день безо всякого стеснения уделяла ему свое внимание. При этом она могла получать такие интимные сведения о его жизни как: во что он одевается; сколько раз в неделю он меняет свои рубашки; помыл ли он свои волосы; что он принес себе домой на ужин; получает ли он письма и от кого. И хотя Джонатан, как уже говорилось, лично действительно ничего не имел против мадам Рокар, и хотя он прекрасно знал, что ее нескромные взгляды объяснялись вовсе не любопытством, а чувством ее профессионального долга, тем не менее он всегда воспринимал эти направленные на себя взгляды как слабый упрек, и каждый раз, когда он проходил мимо мадам Рокар — даже по истечении стольких лет, — в нем поднималась короткая, жгучая волна возмущения: почему, черт побери, она снова пялится на меня? почему она снова меня контролирует? она что, не может, в конце концов, меня не заметить и оставить меня в покое? почему люди так навязчивы?

И поскольку сегодня из-за произошедших событий его ощущения особенно обострились и, как он полагал, ничтожность его существования нашла свое четкое отражение в этом чемодане и зимнем пальто, то взгляды мадам Рокар были особенно болезненны и, прежде всего, ее слова "добрый

день, мосье Ноэль" показали ему откровенным издевательством. И волна возмущения, которая до сих пор никогда не выплескивалась наружу, внезапно хлынула через верх, превращаясь в откровенную ярость, и он сделал что-то такое, чего до сих пор еще никогда не делал: уже пройдя мимо мадам Рокар, он остановился, поставил свой чемодан, набросил на него зимнее пальто и повернулся назад; повернулся с дикой решимостью в конце концов противопоставить хоть что-нибудь пронизательности ее взгляда и речей. Он еще не знал, идя к ней, что он будет делать или говорить. Он знал только, что что-нибудь сделает и скажет. Хлынувшая через верх волна возмущения толкала его к ней, а ярость его не знала границ.

Она сгрузила мусорные баки и уже намеревалась вернуться в свою комнатку, когда он остановил ее, где-то посередине двора. Они стояли приблизительно в полуметре друг от друга. Ее бледно-серое лицо так близко он видел впервые. Кожа толстых щек показалась ему тонкой, словно старый обветшалый шелк, а в ее глазах, карих глазах, не было, если вглядеться вблизи, и следа колючей пронизательности, они содержали в себе что-то мягкое, почти по-девичьи застенчивое. Но Джонатана нельзя было ввести в заблуждение этими деталями, которые, конечно, мало соответствовали тому образу мадам Рокар, который он носил в себе. Чтобы придать своему выступлению официальный характер, он приложил руку к служебной фуражке и довольно резким голосом сказал: — Мадам! Я должен сказать Вам пару слов.

(В этот момент он все еще не знал, что же, собственно говоря, он хочет сказать. )

— Да, мосье Ноэль? — отозвалась мадам Рокар, коротким резким движением приподняв голову.

Она похожа на птицу, подумал Джонатан; на маленькую птицу, которая боится. И он продолжил говорить резким тоном:

— Мадам, я должен сказать Вам следующее... — а затем к своему собственному удивлению услышал, как его все еще бурлящее в нем возмущение оформилось без его участия в следующее предложение: — Перед моей комнатой находится птица, мадам, — и далее, уточняя, — голубь, мадам. Он сидит на полу перед моей комнатой. — Лишь на этом месте ему удалось обуздать свою речь, которая лилась как будто из его подсознания, и, разъясняя, направить ее в определенное русло: — Этот голубь, мадам, уже успел загадить своими испражнениями весь коридор шестого этажа.

Мадам Рокар переступила пару раз с ноги на ногу, приподняла голову



чуть выше и спросила:

— А откуда он взялся, этот голубь, мосье?

— Не знаю, — ответил Джонатан. — Может влетел через окно в коридоре. Оно открыто. А окна должны быть всегда закрыты. Так написано в правилах внутреннего распорядка для жильцов этого дома.

— Окно открыл наверное кто-нибудь из студентов, — сказала мадам Рокар, — было жарко.

— Не исключено, — продолжил Джонатан. — И все-таки оно всегда должно быть закрыто. Особенно летом. Если будет гроза, оно может удариться и разбиться. Летом 1962 года такое уже было. Заменить стекло тогда стоило сто пятьдесят франков. С тех пор в правилах внутреннего распорядка и записали, что окна всегда должны быть закрыты.

Он, вероятно, заметил, что постоянное упоминание им правил внутреннего распорядка для жильцов дома является немного смешным. Ведь его и не интересует, как попал туда этот голубь. Он вообще не намеревался подробно рассуждать об этом, эта возмутительная история касается в какой-то мере только его одного. Он хотел только высказать свое возмущение по поводу проницательных взглядов мадам Рокар и ничего более, в первых словах это было. Теперь возмущение ушло. И он не знал, что делать дальше.

— Ну что ж, необходимо выгнать голубя и закрыть окно, — промолвила мадам Рокар. Она сказала это так, словно нет ничего проще на свете и затем снова все будет в полном порядке. Джонатан молчал. Своим взглядом он запутался в ее карих глазах, он ощутил опасность утонуть в них, будто в мягком коричневом болоте, и ему пришлось на какое-то мгновение закрыть глаза, чтобы выбраться оттуда и, кашлянув, снова обрести свой голос.

— Дело в том... — начал он и кашлянул еще разок, — дело в том, что там все уже в пятнах. Везде зеленые пятна. И перья. Он загадил весь коридор. Все дело в этом.

— Конечно, месье, — сказала мадам Рокар, — коридор нужно будет вымыть. Но прежде всего необходимо выгнать голубя.

— Да, — ответил Джонатан, — да, да... — и подумал: что она имеет в виду? Чего она хочет? Почему она сказала: *необходимо* выгнать голубя? Не хочет ли она сказать, что я должен выгонять этого голубя? И он пожалел, что решил заговорить с мадам Рокар.

— Да, да, — пролепетал он, — необходимо... необходимо его выгнать. Я... я бы сам его давно уже выгнал, но я не могу. Я спешу. Как видите, у меня с собой мое белье и мое зимнее пальто. Мне нужно отнести пальто в

химчистку, а белье — в прачечную, а потом я должен быть на работе. Я очень спешу, мадам, поэтому я не смог выгнать голубя. Я просто хотел сообщить Вам о случившемся. Из-за тех пятен, прежде всего. Все дело в том, что голубь загадил коридор, а это нарушение правил внутреннего распорядка. Там написано, что следует соблюдать чистоту в коридорах, на лестнице и в туалетах.

Он не мог припомнить, чтобы хоть когда-нибудь в своей жизни он изъяснялся так запутано. Ему казалось, что ложь так и выпирает на поверхность, а она должна была скрыть единственную правду: он не может и никогда не смог бы выгнать этого голубя, а совсем наоборот, голубь уже давно как выгнал его самого, и что самое неприятное, правду эту было не скрыть: и если даже мадам Рокар не поняла эту правду с его слов, то теперь она могла прочитать ее у него на лице, ибо он ощутил, как его кинуло в жар, кровь ударила в голову, а щеки его пылали от стыда.

Но мадам Рокар вела себя так, словно она ничего не заметила (может она действительно ничего не заметила?), она сказала только:

— Я благодарю Вас за сообщение, мосье. При случае я обо всем позабочусь, — она опустила голову, обошла Джонатана, направилась шаркающими шагами к туалетной кабинке рядом со своей комнаткой и скрылась там.

Джонатан посмотрел ей вслед. Если раньше в нем еще и теплилась надежда, что кто-то сможет спасти его от голубя, то эта надежда растаяла вместе с унылым взглядом исчезнувшей в своей кабинке мадам Рокар. "Ни о чем она не будет заботиться, — подумал он, — вообще ни о чем. Это что, ее обязанность? Она здесь всего лишь консьержка и должна подметать лестницу и коридор, а также раз в неделю убирать в общем туалете, но она вовсе не обязана выгонять голубя. Не далее, чем сегодня после обеда, она упьется вермутом и забудет обо всем случившемся, если она уже сейчас, в сию минуту, обо всем не забыла..."

Точно в четверть девятого Джонатан был перед банком, как раз за пять минут до того, как прибыли заместитель директора мосье Вильман и старшая кассирша мадам Рок. Вместе они открыли главный портал: Джонатан — наружные решетчатые жалюзи, мадам Рок — внешнюю дверь из пуленепробиваемого стекла, а мосье Вильман — внутреннюю дверь из пуленепробиваемого стекла. Затем Джонатан и мосье Вильман отключили торцовым ключом сигнализацию. После того, как Джонатан вместе с мадам Рок открыли оба замка двери запасного выхода подвального этажа, мадам Рок и мосье Вильман исчезли в подвале, чтобы своими соответствующими ключами открыть хранилище с сейфами. А тем. временем Джонатан, уже

закрывший в гардеробном шкафчике возле туалета чемодан, зонтик и зимнее пальто, занял свое место у внутренней двери из пуленепробиваемого стекла. Нажимая на две кнопки, которые поочередно по шлюзовой системе снимали блокировку то с внешней, то с внутренней двери, Джонатан впускал прибывающих друг за другом служащих. Без четверти девять все служащие были в сборе и каждый расположился на своем рабочем месте, кто — за окошечками, кто — в кассовом зале, а кто — в конторских помещениях. Джонатан вышел из банка и занял свой пост на мраморных ступеньках перед главным порталом. Это было начало собственно его службы.

Служба эта в течение тридцати лет состояла в том лишь, что Джонатан с девяти до тринадцати до обеда и с четырнадцати тридцати до семнадцати после обеда простаивал перед порталом застывшей фигурой или, в крайнем случае, прохаживался размеренным шагом по нижней из трех мраморных ступенек. Где-то в половине десятого и между шестнадцатью тридцатью и семнадцатью часами бывал небольшой перерыв в таком течении службы, вызываемый прибытием и, соответственно, убытием черного лимузина с мосье Редельсом, директором. Нужно было оставлять свое место на мраморной ступеньке, спешить вдоль здания банка к расположенным приблизительно в двенадцати метрах въездным воротам во внутренний двор, прикладывать руку к околышу фуражки в почтительном приветствии и пропускать лимузин. То же самое могло произойти рано утром или в конце дня, когда подъезжал развозочный бронированный автомобиль службы перевозки ценных грузов "Бринк Вертттранспорт сервис". Им тоже нужно было открывать стальную решетку, его пассажирам тоже доставался знак приветствия, конечно — не почтительный, плоской ладонью к околышу фуражки, а легкое касание околыша указательным пальцем — знак приветствия коллегам. В остальное время не происходило ровным счетом ничего. Джонатан стоял, внимательно смотрел перед собой и ждал. Иногда он опускал свой взгляд на свои ноги, иногда — на тротуар, иногда он пристально рассматривал кафе на другой стороне улицы. Иногда он прохаживался по нижней мраморной ступени, семь шагов налево, семь шагов направо, или же, оставив нижнюю ступеньку, поднимался на вторую, а иногда, когда слишком сильно начинало палить солнце, и от жары внутренняя сторона околыша фуражки пропитывалась потом, он взбирался даже на третью ступеньку, на которую падала тень от козырька портала, чтобы там, сняв на короткое время фуражку и смахнув рукавом пот с влажного лба, стоять, внимательно смотреть и ждать.

Он как-то подсчитал, что до своего ухода на пенсию проведет здесь,

стоя на этих мраморных ступеньках, семьдесят пять тысяч часов. Во всем Париже — да скорее всего и во всей Франции — он был бы тогда наверняка тем человеком, который простоял на одном и том же месте дольше всех. Не исключено, что это можно сказать о нем уже сейчас, потому что он уже провел на этих мраморных ступеньках целых пятьдесят пять тысяч часов. Ведь в городе осталось очень мало охранников, которые постоянно работали бы на одном месте. Большинство банков прибегают к услугам так называемых обществ по охране объектов и выставляют перед входом этих молодых, с широко расставленными ногами, с недовольным видом парней, которых через несколько месяцев, часто даже через несколько недель, сменяют другие парни с таким же недовольным видом — якобы исходя из психологии труда: внимание охранника, как считается, слабеет, если он слишком долго несет службу на одном и том же месте; он становится вялым, невнимательным и, следовательно, непригодным для выполнения своих задач...

Ерунда все это! И Джонатану это было известно лучше: внимание охранника слабеет уже через несколько часов. С первого же дня он не воспринимает сознанием все то, что вокруг, или даже тех посетителей, которые многими сотнями входят в банк, да это вовсе и не требуется, потому что в любом случае отличить грабителя банка от клиента банка невозможно. А если бы даже охраннику это и удалось и он бы ринулся навстречу грабителю — его застрелили бы и он лежал бы трупом, прежде чем он успел бы расстегнуть кобуру, ибо у грабителя перед охранником есть преимущество, с которым не поспоришь, это — внезапность.

Словно сфинкс — как находил Джонатан (в одной из своих книг он однажды читал о сфинксах) — охранник стоит словно сфинкс. Он воздействует не своим действием, а просто своим физическим присутствием. Им, и только им, он противостоит потенциальному грабителю. "Ты должен пройти мимо меня, — говорит сфинкс осквернителю могил, — я не могу остановить тебя, но пройти ты должен мимо меня; и если ты все-таки решишься, то падет на тебя месть богов и других умерших предков фараона!" Так же и охранник: "Ты должен пройти мимо меня, я не могу тебя остановить, но если ты решишься на это, то ты должен меня застрелить, и на тебя падет месть суда в виде приговора за убийство!"

Джонатан, конечно, хорошо знал, что сфинкс располагает более эффективными санкциями, чем охранник. Угрожать местью богов охранник никак не может. А на случай, если грабитель чихать захочет на все эти санкции, то, вряд ли сфинксу что-либо будет угрожать. Он сделан из

базальта, его изваяли из выступающих скальных пород, вылили из бронзы или возвели из прочного камня. Он беззаботно пережил разграбление могил на пять тысяч лет... в то время как охранник при ограблении банка уже через пять секунд вынужден будет расстаться с жизнью. И все-таки они были одинаковы, как считал Джонатан, ибо сила обоих покоилась не на оружии, она была символической. И лишь осознав эту символическую силу, которая была источником его гордости и самоуважения, которая давала ему силу и терпение, которая ему больше была нужна, чем внимание, оружие или бронированное стекло, вот уже целых тридцать лет стоял Джонатан Ноэль на мраморных ступенях перед банком и охранял, без страха, без сомнений, без малейшего чувства неудовлетворенности и без недовольного выражения на лице, вплоть до сегодняшнего дня.

Но сегодня все было по-другому. Сегодня Джонатану никак не удавалось войти в состояние непоколебимого покоя. Уже через несколько минут он ощутил тяжесть своего тела, которое болезненно давило на подошвы ног, он переместил ее с одной ноги на другую, потом — назад, из-за этого его немного зашатало и ему, чтобы не потерять равновесие, а до сих пор он удерживал его всегда образцово, пришлось сделать несколько маленьких шажков в сторону. К тому же у него вдруг зачесалось бедро, по бокам и на спине. Через какое-то время зачесался лоб, словно кожа на нем стала сухая и ломкая, как это иногда бывает зимой — и это при том, что сейчас было жарко, даже слишком жарко для четверти десятого, лоб был уже таким потным, каким он, собственно говоря, бывает лишь около половины двенадцатого ... чесались руки, грудь, спина, нижняя половина ног, чесалось везде, где была кожа, он охотно бы почесался, безудержно и жадно, но ведь это же будет ни на что не похоже, если охранник начнет чесаться в общественном месте! И он глубоко вздохнул, расправил грудь, выгнул и расслабил спину, приподнял и опустил плечи и, чтобы получить хоть какое-то облегчение, почесался таким образом изнутри о собственную одежду. Впрочем эти непривычные движения и подергивания только усилили пошатывание корпуса, и скоро тех маленьких шажков в сторону для поддержания равновесия стало уже не хватать, и Джонатан понял, что ему в половине десятого, еще до прибытия лимузина мосье Редельса, придется против обыкновения отказаться от статуйеобразного несения службы и перейти к патрулированию туда и обратно, семь шагов влево, семь шагов вправо. При этом он попытался зацепиться взглядом за ребро старой мраморной ступеньки и передвигаться подобно тележке по этой надежной направляющей туда и обратно с тем, чтобы при помощи этой монотонно текущей, неизменной картины ребра мраморной ступеньки

восстановить в себе страстно желаемую невозмутимость сфинкса, которая позволила бы ему забыть тяжесть собственного тела, кожный зуд и вообще всю эту странную неразбериху в душе и теле. Но об этом нечего было и думать. Тележка постоянно выбивалась из колеи. С каждым взмахом ресниц взгляд срывался со стертого ребра и перескакивал на какой-то другой предмет: клочок газеты на тротуаре; нога в голубом носке; женская спина; корзинка для покупок с хлебом; ручка внешней двери из пуленепробиваемого стекла; мигающий красный ромб табачной рекламы в кафе напротив; велосипед, соломенная шляпка, лицо... И ему нигде не удавалось прочно зацепиться, найти себе новую точку привязки, которая удерживала бы его и помогала бы сориентироваться. Едва он сосредоточился на соломенной шляпке справа, как взгляд его отвлек автобус, едущий слева по улице вниз, через пару метров внимание перескочило на белый спортивный кабриолет, который потянул его снова вправо вдоль по улице, где соломенная шляпка между тем уже исчезла — напрасно глаз искал ее в толпе прохожих, в море шляпок, и зацепился за розу, которая покачивалась на совершенно другой шляпке, оторвался, в конце концов, снова упал на ребро ступеньки, но так и не смог успокоиться, неумолимо скользил дальше, от точки к точке, от пятнышка к пятнышку, от линии к линии... Казалось, что воздух сегодня дрожит от жары, как это бывает только в полуденные часы в самые жаркие дни июля. Прозрачная пелена, через которую были видны предметы, дрожала. Контур здания, линии крыш, коньки были очерчены кричаще четко и в то же время расплывчато, словно они обтрепались. Каменные сточные желобки и пазы между каменными плитами тротуара — обычно словно проведенные под линейку — змеились блестящими кривыми линиями. И женщины, казалось, одели сегодня все свои невыносимо яркие одежды, они проплывали мимо словно языки пламени, притягивали к себе взгляд, но долго на себе не задерживали. Все имело расплывчатые очертания. Не на чем было уверенно сосредоточить свой взгляд. Все будто мерцало.

Это глаза, подумал Джонатан. За ночь я стал близоруким. Мне нужны очки. В детстве он как-то должен был носить очки, слабые, минус ноль семьдесят пять диоптрий, для левого и правого глаза. Так бывает очень редко, чтобы близорукость возникала снова в зрелом возрасте. Он читал, что с возрастом становятся скорее дальнозоркими, а имеющаяся близорукость уходит. Может то, чем он страдает, это вовсе не классическая близорукость, а что-то такое, чему очками уже не поможешь: катаракта, глаукома, отслоение сетчатки, рак глаза, опухоль в мозгу, которая давит на зрительный нерв...

Он был так занят этими ужасными мыслями, что до его сознания не сразу дошел повторяющийся сигнальный гудок автомобиля. Его звуки становились все длиннее — он услышал, отреагировал и поднял голову лишь с четвертого или пятого раза: перед решеткой ворот действительно стоял черный лимузин мосье Редельса! Пока ждали еще какое-то мгновение, просигналили еще и даже поманили жестом. Перед решеткой ворот! Лимузин мосье Редельса! Когда ж это он прозевал его приближение?

Обычно ему не нужно было даже смотреть, он чувствовал, что автомобиль едет, он слышал это по звуку двигателя, если бы он даже спал, то при приближении лимузина мосье Редельса он схватился бы, словно пес.

Он не поспешил, он ринулся со всех ног — летя, он чуть не зарыл носом, — он открыл ворота, сдвинул решетку назад, поприветствовав и пропустив лимузин, он почувствовал, как колотится у него сердце и как постукивает рука о козырек фуражки.

Закрыв ворота и вернувшись назад к главному portalу, он почувствовал, что весь мокрый от пота "Ты прозевал лимузин мосье Редельса, — бормотал он себе под нос дрожащим от отчаяния голосом и повторял, будто сам никак не мог осознать этого: — Ты прозевал лимузин мосье Редельса... ты прозевал его, ты не сработал, ты отнесся к выполнению своих обязанностей с грубейшим пренебрежением, ты не только слеп, ты глух, ты опустившийся и старый человек, ты не годишься больше в охранники".

Он добрался до самой нижней ступеньки мраморной лестницы, взобрался на нее и попытался снова стать в свою обычную позу. Он сразу же заметил, что это ему не удастся. Он больше уже не мог держать плечи прямо, руки болтались по шву брюк. Он знал, что его фигура в этот момент выглядит смешно, и ничего не мог с этим поделать. С тихим отчаянием глядел он то на тротуар, то на кафе напротив. Дрожание воздуха прекратилось. Все вокруг пришло в порядок, линии выпрямились, мир в его глазах прояснился. Он стал улавливать уличный шум, шипение автобусных дверей, голос официанта из кафе, постукивание женских туфель на высоком тонком каблуке. Ни острота его зрения, ни слух нисколько не ослабели. Но пот заливал глаза. По всему телу он ощущал слабость. Он развернулся, поднялся на вторую ступеньку, поднялся на третью и стал в тени вплотную к колонне рядом с внешней дверью из пуленепробиваемого стекла. Он заложил руки за спину, так что они касались колонны. Затем он осторожно откинулся назад, на собственные руки и на колонну, и прислонился, впервые за всю свою тридцатилетнюю службу. И на пару секунд прикрыл глаза. Так ему было стыдно.

В обеденный перерыв он достал из гардероба чемодан, пальто и зонтик и направился на близлежащую Рю Сен-Плясид, где располагалась маленькая гостиница, в которой проживали, в основном, студенты и иностранные рабочие. Он потребовал самую дешевую комнату. Ему предложили одну за пятьдесят франков, он взял ее, не посмотрев, заплатил наперед, оставил свои вещи у регистратора. В ларьке он купил пару булочек с изюмом, пакет молока и отправился в Скуар Букико, маленький парк перед универмагом "Бон Марше". Устроившись в тени на скамейке, он начал есть.

В двух скамейках от него расположился бродяга. Между бедер он держал бутылку белого вина, в руке — половину длинной булки, рядом с ним на скамейке лежал кулек с копчеными сардинами. Бродяга вытаскивал из кулька за хвост сардины, одну за одной, откусывал им головы, выплевывал их, оставшееся целиком отправлял прямо в рот. Затем — кусок булочки, большой глоток из бутылки и вздох блаженства. Джонатан знал этого человека. Зимой он всегда сидел перед входом в склад универмага на решетке котельной, расположенной в подвале; летом — перед лавкой на Рю де Севр, или в подъезде иностранной миссии, или же рядом с почтамтом. Уже несколько десятков лет он обитал в этом квартале, столько же, сколько и Джонатан. И Джонатан вспомнил, что тогда, тридцать лет тому назад, когда он впервые увидел его, в нем вскипела какая-то жгучая зависть, зависть к той беззаботности, с какой живет этот человек. В то время, когда Джонатан каждый день ровно в девять заступал на службу, бродяга часто появлялся лишь в десять или одиннадцать; в то время, когда Джонатану приходилось стоять навытяжку, тот устраивался, удобно развалившись на куске картона, и покуривал себе; в то время как Джонатан, час за часом, день за днем и год за годом охранял, рискуя своей жизнью, банк и таким образом зарабатывал себе на жизнь, тот парень не делал ничего, а полагался лишь на сочувствие и заботу ближних, которые бросали в его шапку наличную денежку. И казалось, что он никогда не бывает в плохом расположении духа, даже тогда, когда шапка оставалась пустой, казалось, что он никогда не страдает и не злится, и даже не скучает. От него всегда исходила возмутительная самоуверенность и самодовольство, вызывающе выставленная на всеобщее обозрение аура свободы.

Но как-то потом, в середине шестидесятых, осенью, когда Джонатан заходил на почтамт на Рю Дюпен, перед входом он чуть не споткнулся о винную бутылку, стоявшую на куске картона между пластиковым пакетом и хорошо знакомой шапкой с парой монет внутри, и когда он, поискав какое-то время глазами бродягу, и не потому, что он жалел об отсутствии



этого человека, а просто потому, что в этом натюрморте из бутылки, пакета и картона отсутствовала центральная фигура... нашел его устроившимся между двумя припаркованными на противоположной стороне улицы автомобилями и увидел как тот справляет свою большую нужду: он сидел на корточках со спущенными до колен штанами рядом со сточным желобком, своим задом он был повернут к Джонатану, и зад был полностью голый, мимо спешили прохожие, его мог видеть любой: неестественно белую, покрытую синюшными пятнами и красноватыми следами отслоившихся струпьев задницу, которая выглядела такой старой, словно задница прикованной к постели старухи — при этом человек этот был не старше тогдашнего Джонатана, вероятно тридцать, максимум — тридцать пять лет. И из этой старческой задницы на мостовую хлестала струя коричневой супообразной жидкости, с невероятной силой и в жутком количестве, образовалась лужа, озеро, окружавшее ботинки, а летящие в разные стороны брызги запачкали носки, ноги, брюки, рубашку, да все...

Это зрелище было настолько жалким, настолько ужасным и от него так тошнило, что Джонатан по сей день содрогался даже при простом воспоминании о нем. Тогда, после непродолжительного созерцания этого кошмара, он ретировался в спасительный почтамт, оплатил свой счет за электричество, купил еще марок, хотя они и не были ему нужны, а только для того, чтобы затянуть свое пребывание здесь и быть уверенным, что, выходя из почтамта, он больше не увидит того бродягу обдeldывающим свои делишки. А затем, выходя, он плотно зажал глаза, опустил взгляд и заставил себя не смотреть на противоположную сторону улицы, а только строго влево, вдоль Рю Дюпен, туда он и поспешил, налево, хотя он там ничего не забыл, а только для того, чтобы не пришлось проходить мимо того места с бутылкой вина, картоном и шапкой, ему пришлось сделать большой крюк через Рю дю Шерш-Мипо и бульвар Распай, прежде, чем он достиг Рю де ля Планш и своей комнаты, надежного убежища.

С этого часа из души Джонатана исчез даже намек на чувство зависти к бродяге. Если до тех пор время от времени в нем шевелилось слабое сомнение, есть ли смысл в том, что человек треть своей жизни проводит, стоя перед воротами банка, открывая периодически ворота и приветствуя лимузин директора, всегда одно и то же при маленьком отпуске и мизерном жалованье, большая часть которого бесследно исчезает в виде налогов, платы за жилье и взносов на социальное страхование... есть ли во всем этом смысл — то теперь ответ стоял у него перед глазами со всей отчетливостью той ужасной картины, которую он увидел на Рю Дюпен: да, смысл есть. Да еще какой, ведь он избавляет его от необходимости

обнажать свой зад в общественном месте и справлять свою нужду прямо на улице. Есть ли что-нибудь жалче, чем необходимость обнажать свой зад в общественном месте и справлять нужду на улице? Есть ли что-нибудь более оскорбительное, чем эти спущенные штаны, эта скрюченная поза, эта вынужденная отвратительная нагота? Есть ли что-нибудь беспомощнее и унижительнее, чем позыв обделать свои интимные делишки на глазах у всего мира? Нужда! Уже в самом этом слове есть что-то мучительное. И как все, что приходится делать под давлением неумолимого позыва, она, дабы быть вообще сносной, требует полного отсутствия других людей... или, по крайней мере, видимость их отсутствия: лес, если находишься на природе; куст, если прихватило в открытом поле, или хотя бы борозда, или вечерние сумерки, или, если ничего этого нет, хорошо просматриваемая на добрый километр вокруг местность, на которой никого не видно. Но в городе? Набитом людьми? Где вообще никогда не бывает полностью темно? Где даже заброшенный земельный участок с развалинами на нем не обеспечивает надежное укрытие от вездесущих взглядов? В городе, где единственную возможность уединиться от людей дают хороший замок и засов. У кого их нет, нет надежного убежища для справления нужды, тот самый жалкий и презренный из всех людей, какую бы свободу он не имел. Джонатан мог бы обходиться небольшими деньгами. Он мог бы даже представить себе, что на нем поношенный пиджак и дырявые штаны. В крайне безвыходной ситуации, мобилизовав всю свою романтическую фантазию, для него было бы все-таки еще мыслимым спать на куске картона и ограничить уют собственного дома хоть каким-нибудь уголком, решеткой отопительной системы, лестничной клеткой станции метро. Но когда ты в крупном городе, справляя большую нужду, не можешь даже прикрыть за собой дверь — будь то хотя бы дверь общего на весь этаж туалета, — если ты лишен одной только этой важнейшей свободы, а именно свободы уединиться в нужде от других людей, то тогда все остальные свободы ровным счетом ничего не значат. Да и жизнь тогда не имеет никакого смысла. Тогда лучше умереть.

Когда Джонатан убедился, что суть человеческой свободы состоит во владении общим на весь этаж туалетом и что он располагает этой существенной свободой, его охватило чувство глубокого удовлетворения. Да, все-таки жизнь свою он устроил хорошо! Его существование можно целиком и полностью назвать счастливым. В нем ничего не было, а это тем более означает, что в нем не о чем жалеть и незачем завидовать другим людям.

С того часа он стоял перед воротами банка словно на окрепших ногах.

Он стоял точно вылитый из бронзы. Те солидные самодовольство и самоуверенность, которые он до сих пор предполагал у бродяги, влились в него, словно расплавленный металл, застыли в нем точно внутренняя броня и сделали его весомей. Впредь ничто уже не могло его больше поколебать и никакое сомнение не могло выбить почву у него из-под ног. Он обрел невозмутимое спокойствие. К бродяге, если он его где-нибудь встречал или видел сидящим, он испытывал лишь то чувство, которое принято называть терпимостью: очень равнодушная смесь отвращения, пренебрежения и сочувствия. Этот человек его больше не волновал. Он был ему абсолютно безразличен.

Он был ему безразличен вплоть до сегодняшнего дня, когда Джонатан сидел в Скуар Букико, поедая свои булочки с изюмом и попивал молоко из пакета. Обычно на обед он ходил домой. Он ведь жил всего лишь в пяти минутах ходьбы отсюда. Обычно дома он что-нибудь готовил или разогревал на своей плитке, омлет, яичницу "глазунью" с ветчиной, вермишель с растертым сыром, оставшийся со вчерашнего дня суп, а также салат и чашечку кофе. Прошла уже целая вечность с того дня, когда он в обеденный перерыв в последний раз сидел на парковой скамейке, ел булочки с изюмом и запивал их молоком из пакета. Сладкое, собственно говоря, он не очень любил. Да и молоко тоже. Но ведь сегодня он уже заплатил пятьдесят пять франков за гостиницу; и в этой ситуации для него было бы слишком расточительным пойти в кафе и заказать там омлет, салат и пиво.

Бродяга на скамейке в глубине парка закончил свою обеденную трапезу. После сардин с хлебом он отправил в себя еще сыр, груши и кекс, сделал большой глоток из бутылки с вином, издал из себя стон глубочайшего удовольствия, затем свернул свой пиджак подушкой, положил на него голову и, чтобы после обеда отдохнуть, вытянул на скамейке во всю длину свое ленивое сытое тело. Теперь он спал. Приблизились, подпрыгивая, воробьи и начали склевывать хлебные крошки, затем к скамейке, привлеченные воробьями, приковыляли несколько голубей и начали долбить своими черными клювами откушенные сардиньи головы. Бродяге птицы не мешали. Его сон был глубоким и спокойным.

Джонатан рассматривал его. И пока он его рассматривал, его охватило какое-то непонятное беспокойство. Беспокойство это питалось не завистью, как в свое время, а скорее удивлением: как это возможно, — спрашивал он себя, — что этот человек, которому уже за пятьдесят, вообще еще живет? Не должен ли был он при своем более чем безответственном образе жизни

уже давно помереть с голоду, замерзнуть, загнуться от цирроза печени — так или иначе, но быть мертвым? Вместо этого он с прекрасным аппетитом ел и пил, спал сном праведника и производил в своих латаных штанах — которые уже давно, конечно, были не те штаны, которые он спустил тогда на Рю Дюпен, а относительно приличные, почти модные, лишь там и сям зашитые вельветовые штаны — и своем пиджаке из хлопчатобумажной ткани впечатление более чем благополучной личности, которая живет в наилучшем согласии с собой и окружающим миром и наслаждается жизнью... в то время как он, Джонатан, — и его удивление росло и росло аж до какой-то нервной путаницы в мыслях, — в то время как он, который все-таки всю жизнь был порядочным и правильным человеком, скромным, почти аскетичным и аккуратным, всегда пунктуальным и послушным, надежным, добропорядочным... и каждый су, который был у него, он заработал сам, и всегда за все платил наличными, счет за электроэнергию, квартирную плату, рождественские деньги для консьержки... никогда не имел долгов, не был никогда и никому в тягость, ни разу не болел и не залезал в карман социальному страхованию... никогда никого ничем не обидел, никогда, никогда не желал в жизни ничего другого, а только обеспечить и сохранить свой собственный, скромный маленький душевный мир... в то время как он на пятьдесят третьем году своей жизни влип в историю, от которой голова идет кругом и которая до основания потрясла весь его так тонко состряпанный жизненный уклад, привела его в замешательство и свела с ума, и из-за жуткого смятения и страха он жрет эту булку с изюмом. Да, он боится! Видит Бог, что он дрожит от страха при одном только виде этого спящего бродяги: его охватывал жуткий страх перед тем, что придется стать таким, как этот опустившийся человек на скамейке. Как быстро это происходит, когда нищают и опускаются! Как быстро рушится казалось прочно возведенный фундамент собственного существования! "Ты прозевал лимузин мосье Редельса, — снова пронеслось у него в голове. — То, чего никогда не случалось, и то, что никогда не должно было случиться, сегодня все-таки произошло: ты прозевал лимузин. А прозевав лимузин сегодня, завтра ты можешь прозевать всю службу или потерять ключ от решетчатых жалюзи, а в следующем месяце тебя с позором уволят, и новую работу тебе не найти, кто возьмет человека, который уже однажды не справился со своими обязанностями? На пособие по безработице прожить нельзя, свою комнату к тому времени ты и без того уже давно потеряешь, там живет голубь, целое семейство голубей населяет, загаживает и опустошает его комнату, счета за гостиницу вырастают до астрономических сумм, из-за этих забот ты начинаешь пить, пьешь все

больше и больше, пропиваешь все свои сбережения, спиваешься окончательно, заболеваешь, деградируешь, покрываешься вшами, опускаешься окончательно, тебя изгоняют из последнего дешевого пристанища, у тебя нет больше ни су, ты стоишь перед пустотой, ты — на улице, ты спишь, ты живешь на улице, ты справляешь нужду на улице, тебе конец, Джонатан, к концу года тебе будет конец, ты словно бродяга в оборванных одеждах будешь лежать на парковой скамейке, как он лежит, твой опустившийся собрат!"

Во рту у него пересохло. Он отвел взгляд от зловещего предзнаменования, исходившего от этого спящего мужчины и запустил зубы в последний кусок своей булочки с изюмом. Это продолжалось целую вечность, пока кусок оказался в желудке, он со скоростью улитки обдирал пищевод, иногда казалось, что он вообще остановился, и давил, и делал больно, словно прокалывающая грудь иглолка, так что Джонатан подумал, что он, наверное, подавится этим отвратительным куском. Но затем эта штукавина снова сдвинулась дальше, немножко и еще чуть-чуть, и наконец достигла цели и судорожная боль отпустила. Джонатан глубоко вздохнул. Теперь он решил уйти. Ему не хотелось здесь больше оставаться, хотя обеденный перерыв заканчивался только через полчаса. С него хватит. Ему было противно здесь. Тыльной стороной ладони он смахнул со своих форменных брюк те несколько хлебных крошек, которые попали на них во время еды, невзирая на всю его осторожность, расправил складки брюк, поднялся и направился из парка, не бросив в сторону бродяги ни единого взгляда.

Он был уже на Рю де Севр, когда вдруг вспомнил, что он оставил на скамейке пустой пакет из-под молока, а это было ему неприятно, потому что он ненавидел, когда другие люди оставляют на скамейке мусор или просто бросают его на улицу вместо того, чтобы бросить туда, куда положено, конкретно — в расставленные повсюду урны. Лично он никогда еще не бросал мусор просто так или не оставлял его на скамейках, никогда, будь то из небрежности или забывчивости, что-либо в таком роде с ним просто не случалось... поэтому он и не хотел, чтобы это случилось с ним сегодня, тем более сегодня, в этот критический день, когда уже произошло столько кошунственного. Он и без того уже начал катиться по наклонной плоскости, и без того вел себя как дурак, как не отвечающий за свои поступки субъект, почти как асоциальный тип — прозевать лимузин мосье Редельса! Обедать в парке булочками с изюмом! И если сейчас он не сосредоточится, тем более — в мелочах, если не начнет самым энергичным образом противодействовать таким казалось бы второстепенным

небрежностям, как этот оставленный пакет из-под молока, то тогда он полностью потеряет равновесие и его кончину в нищете уже ничем нельзя будет предупредить.

Он развернулся и отправился обратно в парк. Еще издалека он увидел, что скамейка, на которой он сидел, еще никем не занята, и, подойдя ближе, он рассмотрел к своему облегчению на фоне окрашенных в темно-зеленый цвет реек спинки скамейки белый картон молочного пакета. Очевидно никто еще не обратил внимание на его небрежность, и он мог исправить свою непростительную ошибку. Подойдя к скамейке сзади, он левой рукой достал в глубоком наклоне через спинку скамейки пакет, снова выпрямился, сделав при этом резкий поворот всем телом в правую сторону, приблизительно в том направлении, где он предполагал ближайшую урну — и тут он почувствовал на своих брюках резкий, сильный, направленный наискось вниз рывок, которому он никак не мог противодействовать, поскольку он был слишком внезапным и поскольку рывок этот возник как раз посередине его собственного раскручивающегося движения вверх в противоположном направлении. Одновременно с этим раздался отвратительный звук, громкое "трр!", и он ощутил, как по коже левого бедра струится легкий сквознячок, что свидетельствовало о свободном доступе наружного воздуха. На какое-то мгновение его охватил такой ужас, что он не решался взглянуть. Этот звук "трр!" — а он все еще звучал в его ушах — казался ему такой невероятной силы, словно это разорвалось что-то не только на его брюках, а будто линия разрыва прошла по всему его телу, по скамейке, через весь парк, подобно зияющему разлому после землетрясения, и звук этот непременно должны были услышать все люди вокруг, это ужасное "трр!", и теперь возмущенно уставились на источник этого звука, на Джонатана. Но никто не обратил внимания. Пожилые дамы продолжали вязать, пожилые мужчины продолжали читать свои газеты, несколько детишек, находившихся на маленькой площадке, продолжали спускаться с горки, а бродяга спал. Джонатан медленно опустил свой взгляд. Разрыв имел где-то сантиметров двенадцать в длину. Он проходил от нижнего края левого кармана брюк, который при том повороте зацепился за выступающий шуруп скамейки, вниз вдоль бедра, но не строго по шву, а как раз по красивому габардиновому материалу форменных брюк, а затем под прямым углом дальше на толщину двух больших пальцев до отутюженной стрелки, так что в материале образовалась не просто какая-то там нескромная щелочка, а бросающаяся в глаза дыра, над которой трепыхался треугольный флажок.

Джонатан ощутил, как в его кровь вливается адреналин, то щекочущее

вещество, о котором он как-то прочитал, что его в момент наивысшей физической опасности и душевной подавленности выделяют надпочечники, чтобы мобилизовать для бегства или битвы не на жизнь, а на смерть последние резервы организма. Он и правда ощутил себя словно раненым. Ему казалось, что не только на его брюках, но и на его собственной плоти возникла двенадцатисантиметровая рана, из которой струилась его кровь, его жизнь, которая циркулирует лишь в полностью закрытой внутренней системе кровообращения, и придется ему умереть от этой раны, если не удастся ее как можно скорее закрыть. Но тут появился этот адреналин, который удивительным образом приободрил его, человека, который был уверен, что истечет кровью. Удары сердца были сильными, его мужество окрепло, его мысли сразу же прояснились и сориентировались на одну цель: "Ты должен немедленно что-то сделать, — билось в нем, — ты в сию же секунду должен что-нибудь предпринять, чтобы закрыть эту дыру, иначе ты пропал!" И не успел он еще спросить себя, что он мог бы предпринять, как он уже знал ответ — так быстро действовал адреналин, удивительный наркотик, так окрыляюще действует страх на ум и активность. Приняв мгновенное решение, он прихлопнул пакет из-под молока, который он все еще держал в левой руке, правой рукой, скомкал его и выбросил, все равно — куда, на поросшую травой лужайку, на песочную аллею, он не придавал этому значения. Освободившейся левой рукой он зажал дыру на бедре и бросился прочь оттуда, стараясь не сгибать левую ногу с тем, чтобы не соскальзывала рука, дико размахивая правой рукой, сильно качающимся шагом, характерным для хромых, выскочил из парка и понесся по Рю де Севр, у него еще было без малого полчаса времени.

В продовольственном отделе универмага "Бон Марше", угол Рю дю Бак, есть портниха. Он видел ее буквально за пару дней до этого. Она сидела прямо перед отделом, недалеко от входа, там где ставят тележки для покупок. На ее швейной машинке висела табличка, на ней можно было прочитать, он припомнил это дословно: *Жанин Топель — переделка и ремонт — качественно и быстро*. Эта женщина поможет ему. Она должна помочь ему — если только она сама сейчас не на обеде. Но нет, она не может быть на обеде, нет, нет, это было бы слишком уж много невезенья. Столько невезенья в один день у него не может быть. Не сейчас. Нет, ведь беда так велика. А когда беда не знает границ, то тогда везет, тогда находят помощь. Мадам Топель должна быть на своем месте и она поможет.

Мадам Топель *была* на своем месте! Он увидел ее еще от входа в продовольственный отдел, она сидела за своей машинкой и шила. Да, на

мадам Топель можно положиться, она работает даже во время обеденного перерыва, качественно и быстро. Он побежал к ней, стал рядом со швейной машинкой, убрал руку с бедра, глянул на свои наручные часы, было четырнадцать часов пять минут, прокашлялся:

— Мадам! — начал он.

Мадам Топель закончила плиссировочный шов на красной юбке, с которой она работала, выключила машинку и ослабила лапку с иглой, чтобы освободить материал и обрезать нитку. Затем она подняла голову и посмотрела на Джонатана. Она носила огромные очки с толстой перламутровой оправой и сильно выпуклыми стеклами, которые увеличивали ее глаза до гигантских размеров, а глазные впадины становились похожими на глубокие темные пруды. Волосы ее были каштановыми и ровно спадали до самых плеч, ее губы были подведены серебристо-фиолетовым цветом. Ей могло быть под пятьдесят, а может — и далеко за пятьдесят, у нее был аллюр тех дам, которые могут предсказывать судьбу по стеклянному шару или картам, аллюр тех довольно измученных дам, для которых, собственно говоря, и само обозначение "дама" больше уже не очень подходит, но к которым все-таки сразу же испытываешь доверие. И пальцы ее — пальцами она подняла очки на носу немного повыше, чтобы удобнее было смотреть Джонатану в глаза — и пальцы ее, короткие, словно сосиски, и все-таки — невзирая на большой объем ручной работы — ухоженные, с покрытыми серебристо-фиолетовым лаком ногтями, светились внушающей ; доверие полуэлегантностью.

— Слушаю Вас, — сказала мадам Топель слегка охрипшим голосом.

Джонатан повернулся к ней боком, показал на дыру на своих брюках и спросил:

— Вы можете это зашить? — И поскольку вопрос показался ему произнесенным слишком резко и мог бы выдать его возбужденное под воздействием адреналина состояние, он добавил более мягким, как можно более безразличным тоном: — Это дырочка, небольшой разрыв... нелепая неприятность, мадам. Если бы можно было что-нибудь сделать.

Мадам Топель скользнула взглядом своих огромных глаз по Джонатану сверху вниз, нашла на бедре дыру и наклонилась вперед, чтобы посмотреть ее. При этом ее прямые каштановые волосы разделились от лопаток до затылка и обнажили короткую, белую, жирную шею; одновременно от нее дохнуло запахом, таким тяжелым, пудренным и дурманящим, что Джонатан запрокинул голову и вынужден был перевести взгляд от близкой шеи к удаленному супермаркету; и на какое-то мгновение перед его глазами возник торговый зал целиком, со всеми его прилавками и холодильными



шкафами, полками с сыром и колбасой, столами для распродаж, пирамидами из бутылок, горами овощей, с копошащимися между ними, толкающими тележки для покупок и тянущими за собой маленьких детей покупателями, с персоналом, служащими склада, кассиршами — кишащая, шумящая толпа людей, на краю которой, открытый всем взглядам, стоит он, Джонатан, в своих разорванных брюках... И в его мозгу пронеслась мысль, ведь там в толпе могут находиться мосье Вильман, мадам Рок или даже мосье Редельс и увидеть его, Джонатана, сомнительное место на теле которого привселюдно исследует слегка опустившаяся дама с каштановыми волосами. И он ощутил себя в несколько затруднительном положении, особенно, видит Бог, теперь, ощутив на коже своего бедра один из сосискообразных пальцев мадам Топель, которая поднимала и прикладывала надорванный кусочек материала...

Но вот мадам снова выпрямилась с уровня бедра, откинулась на стуле и прямой поток благоухания ее духов прекратился, так что Джонатан смог опустить голову, вернуть взгляд из головокружительной дали торгового зала и направить его на вызывающую доверие близость больших, выпуклых стекол очков мадам Топель. — Ну что? — спросил он и добавил: — Ну как? — в состоянии того робкого нетерпения, словно стоит он перед своей врачихой и опасается ошеломляющего диагноза.

— Никаких проблем, — ответила мадам Топель. — Нужно только что-то подложить. И будет виден тоненький шов. По другому не получится.

— Да ничего страшного, — проговорил Джонатан. — Тоненький шов — это совсем не страшно, кто вообще смотрит на это укромное место? — И он посмотрел на свои часы. Было четырнадцать часов четырнадцать минут. — Значит, Вы сможете это сделать? Вы сможете помочь мне, мадам?

— Ну, конечно, — ответила мадам Топель и снова сдвинула свои очки, которые во время осмотра дыры немного сползли, повыше на переносицу.

— О, я благодарю Вас, мадам, — затараторил Джонатан, — я Вам очень благодарен. Вы выручили меня из очень затруднительного положения. Но у меня есть только одна просьба: не могли бы Вы... не будете ли Вы столь любезны — я, собственно говоря, очень спешу, у меня осталось всего лишь... — и он снова посмотрел на часы, — ... всего лишь десять минут времени — не могли бы Вы сделать это прямо сейчас? Я имею в виду: прямо в сию минуту? Безотлагательно?

Есть вопросы, которые отрицают сами себя хотя бы тем, что их задают. И есть просьбы, абсолютная напрасность которых проявляется, еще когда произносишь их и смотришь при этом другому человеку в глаза. Джонатан посмотрел в обрамленные тенью большие глаза мадам Топель и понял

сразу, что все это бессмысленно, все напрасно, безнадежно. Он понял это еще раньше, в то время, когда еще только задавал свой путанный вопрос, он понял в. момент, когда он посмотрел на часы, он по снижению уровня адреналина в своей крови буквально физически ощутил это: десять минут! В состоянии ли хоть кто-нибудь за десять минут зашить эту ужасную дыру? Ничего не получится. Да и вообще не может из этого ничего получиться. Не станешь же, в конце концов, латать эту дыру прямо на бедре. Нужно что-то подкладывать, а это означает: снять брюки. А где, скажите, взять другие брюки, в продовольственном отделе универмага "Бон Марше"? Снять собственные штаны и стоять в подштанниках... ? Бред. Абсолютный бред.

— Прямо сейчас? — спросила мадам Топель, и Джонатан, хотя и знал, что все бессмысленно, хотя и сдался уже давно, все-таки кивнул.

Мадам Топель усмехнулась.

— Поглядите-ка, мосье: все, что Вы здесь видите, — и она показала на двухметровую вешалку, которая вся была увешана платьями, пиджаками, брюками, блузками, — все это я должна сделать прямо сейчас. Я работаю по десять часов в день.

— Да, конечно, — сказал Джонатан, — я все понимаю, мадам, глупый вопрос. Как Вы думаете, сколько понадобится времени, пока Вы сможете залатать мою дыру?

Мадам Топель снова повернулась к своей машинке, заправила материал красной юбки и опустила лапку с иглой.

— Если Вы принесете мне брюки завтра утром, то через три недели они будут готовы.

— Через три недели? — повторил Джонатан словно ошарашенный.

— Да, — отозвалась мадам Топель, — через три недели.

Быстрее не получится.

Затем она включила свою машинку и начала строчить, и в этот момент Джонатан ощутил себя так, словно его никогда и не было. Хотя он по-прежнему видел не далее, чем на расстоянии протянутой руки, мадам Топель, которая сидела за швейной машинкой, видел каштановую голову с перламутровыми очками, видел быстро работающие толстые пальцы и стрекочущую иглу, которая делала шов по кайме красной юбки... он видел также вдали расплывчатую сутолоку в супермаркете ... но он внезапно перестал видеть себя, это означало, что он не видел больше себя частью мира, что окружал его, ему показалось на какую-то пару секунд, что стоит он далеко-далеко в стороне, и рассматривает этот мир словно через повернутый другой стороной бинокль. И снова, как это уже было до обеда,

у него закружилась голова и его зашатало. Он сделал шаг в сторону, повернулся и пошел к выходу. Движения во время ходьбы снова возвращали его в этот мир, эффект перевернутого бинокля перед его глазами исчез. Но внутри его продолжало шатать.

В канцелярском отделе он купил моток клеящей ленты "Теза". Заклеил ею разорванное место на своих брюках чтобы треугольный флажок больше не отставал при каждом шаге. Затем он вернулся на работу.

Вторую половину дня он провел в настроении тоски и ярости. Он стоял перед банком, на самой верхней ступеньке, вплотную к колонне, но не прислонялся, потому что не хотел поддаться своей слабости. Да он и не смог бы это сделать, ибо для того, чтобы прислониться незаметно, нужно было бы заложить за спину обе руки, а это было невозможно, потому что левая должна была свисать вниз для прибытия заклеенного места на бедре. Вместо этого для сохранения устойчивости ему пришлось стать в ненавидимую им стойку с широко расставленными ногами, так, как это делают эти молодые глупые парни, и он заметил, как из-за этого выгнулся позвоночник и как обычно свободно и прямо держащаяся шея опустилась между плеч, а с ней — голова и фуражка, и как опять же из-за этого под козырьком фуражки абсолютно автоматически возник тот выглядывающий, злобно выслеживающий взгляд и то недовольное выражение лица, которое он так презирал у других охранников. Он выглядел словно калека, словно пародия на охранника, будто карикатура на самого себя. Он презирал себя. Он ненавидел себя в эти часы. Яростно ненавидя самого себя, он охотно вылез бы из собственной шкуры, он с удовольствием вылез бы из своей кожи в буквальном смысле, потому что зудело по всему телу, и он не мог больше почесаться о собственную одежду, ибо из каждой поры лился пот и одежда прилипла к телу, словно вторая кожа. А там, где она не прилипла и где между кожей и одеждой осталось немножко воздуха: на голених, на предплечьях, в выемке выше грудины... именно в этой выемке, где зуд был действительно невыносимым, потому что пот скатывался полными зудящими каплями — именно там он *не хотел* почесаться, он не хотел доставить себе это доступное маленькое облегчение, потому что оно не изменило бы состояние его всеохватывающего большого горя, а сделало бы его лишь еще более рельефным и смешным. Он *хотел* страдать. И чем сильнее он страдает, тем лучше. Страдание было как раз кстати, оно оправдывало и разжигало его ненависть и его ярость, а ярость и ненависть разжигали со своей стороны снова страдание, ибо они приводили ко все более интенсивному приливу крови и выдавливали все новые потоки пота из пор его кожи. Все лицо было мокрым, с подбородка и волос на затылке

капала вода, околыш фуражки врезался в распухший лоб. Но ни за что на свете он не снял бы фуражку, даже на короткое время. Она должна сидеть на его голове, словно привинченная крышка скороварки, охватывая подобно железному обручу виски, даже если при этом раскалывается голова. Он ничего не хотел делать, чтобы смягчить свою беду. Он простоял так без единого движения в течение часа. Он заметил только, как его спина сгибается все больше и больше, как все глубже садятся его плечи, шея и голова, как его тело принимает все более приземистую и дворняжичью стойку.

И, наконец, — а он не мог да и не хотел противодействовать этому — его запруженная внутри ненависть к самому себе перешла через край, просочилась из него, потекла во все темнеющие и наливающиеся злостью вылупленные под козырьком фуражки глаза и вылилась самой обыкновенной ненавистью на окружающий мир. На все, что попадало в поле его зрения, Джонатан изливал мерзкий ушат своей ненависти; можно даже сказать, что его глазами реальная картина мира вообще больше не воспринималась, а словно стало все наоборот и глаза стали служить лишь как ворота наружу, чтобы оплевывать мир внутренними искаженными картинками: да хотя бы те же официанты, на другой стороне улицы, на тротуаре перед кафе, никчемные, молодые, глупые официанты, слоняющиеся там между столами и стульями, невежественные, болтающие между собой и ухмыляющиеся, скалящие зубы и мешающие прохожим, свистящие вслед девушкам, петухи, ничего не делающие, лишь иногда передающие громкими голосами через открытую дверь к стойке принятые заказы: "Чашечку кофе! Одно пиво! Лимонад!" — чтобы затем наконец-то соблаговолить и принести, балансируя, заказ в наигранной спешке, и сервировать его эффектными, псевдоартистическими официантскими движениями: поставить спиралеобразным движением чашечку на стол, открыть одним движением руки бутылочку "Кока-колы", зажатую между бедер, удерживаемый губами кассовый чек сплюнуть вначале на руку, а затем засунуть под пепельницу, в то время, как вторая рука уже рассчитывается за соседним столиком, загребая кучу денег, цены астрономические: пять франков за чашечку крепкого черного кофе, одиннадцать франков за маленькую кружечку пива, к этому еще 15-процентная надбавка за обезьянье обслуживание плюс чаевые; да, они ждут и их, эти господа бездельники, наглецы, чаевые! — иначе с их губ не слетит больше ни единого "спасибо", промолчат они и на "до свидания"; без чаевых клиенты мгновенно превращаются для них в пустое место и уходя имеют возможность созерцать лишь надменные официантские спины

и надменные официантские задницы, над которыми красуются туго набитые черные бумажники, засунутые за ремень брюк, они ведь, эти безмозглые балбесы, считают это шиком и раскованностью хвастливо выставлять свои бумажники, словно жирные ягодицы, на всеобщее обозрение — ох, он бы прикончил их своим взглядом, словно кинжалом, этих надутых болванов в этих легких, прохладных официантских рубашках с короткими рукавами! Он бы с удовольствием перебежал бы на другую сторону улицы, выволок бы их за уши из-под дающего прохладу балдахина и прямо на улице надавал бы им по щекам, слева, справа, слева, справа, лясь, надавал бы под самую завязку и спустил бы шкуру...

Но не только им! О нет, не только этим соплякам официантам, с клиентов тоже следовало бы спустить шкуру, с этого пришибленного туристского сброда, который, вырядившись в летние блузки, соломенные шляпки и солнцезащитные очки, сидит себе развалившись и хлещет сверхдорогие освежающие напитки, тогда как другие люди стоят, умываясь потом, и работают. А еще эти водители. Здесь! Эти тупоумные макаки в своих вонючих жестянках, отравляющих воздух, создающих отвратительный шум, те, которые за весь день не могут заняться ничем другим, кроме как носиться по Рю де Севр вверх и вниз. Здесь что, и без того мало вони? На этой улице, да во всем городе что, недостаточно шумно? Не хватает той жарницы, которую изливают небеса? Обязательно нужно всосать в свои двигатели и тот остаток воздуха, пригодного для дыхания, сжечь его и, смешав с ядом, гарью и горячим дымом, выдуть его под нос порядочным гражданам? Говнюки! Тюрьма по вам плачет! Стереть бы вас с лица земли. Именно так! Выпороть и стереть. Расстрелять. Каждого в отдельности и всех вместе. О! Он бы насладился, если бы вытянул свой пистолет и выстрелил бы по чему-нибудь, прямо по кафе, прямо по стеклам, чтобы они зазвенели и задребезжали, прямо по группе автомобилей или же прямо по огромным домам напротив, ужасным, высоченным и нависающим домам, или просто в воздух, вверх, в небо, да в жаркое небо, в до ужаса гнетущее, задымленное, по-голубиному серо-голубое небо, чтобы оно взорвалось, чтобы налитая свинцом капсула лопнула и разрушилась от этого выстрела, и рухнула вниз, все кроша и погребая под собой, все, все без остатка, весь этот дерьмовый, тягостный, шумный и вонючий мир: такой всеохватной и титанической была ненависть Джонатана Ноэля в этот день, что он из-за дыры на своих брюках готов был повергнуть в пыль и прах весь мир!

Но он ничего не сделал, слава Богу — ничего. Он не начал стрелять в небо, или по кафе напротив, или по проезжающим автомобилям. Он

остался стоять, обливаясь потом и не шевелясь. Потому что та самая сила, которая пробудила в нем фантастическую ненависть и вылила ее через его глаза на мир, сковала его настолько сильно, что он не мог более пошевелить ни одним членом, не говоря уже о том, чтобы протянуть руку к оружию или нажать пальцем на спусковой крючок, что он не мог даже махнуть головой и стряхнуть с кончика носа маленькую неприятную капельку пота. Под воздействием этой силы он окаменел. В эти часы она действительно превратила его в угрожающе-бесчувственный образ сфинкса. В ней было что-то от электрического напряжения, которое магнетизирует железный сердечник и удерживает его в положении равновесия, или от большого давления внутри какого-нибудь строения, которое плотно прижимает каждый кирпичик к строго определенному месту. Сила эта имела сослагательное действие. Весь ее потенциал состоял в "я бы, я мог бы, лучше всего я сделал бы", и Джонатан, который мысленно формировал отвратительные сослагательные угрозы и пожелания, в тот же момент прекрасно знал, что он их никогда не осуществит. Он был не способен на это. Он не одержимый внезапным безумием человек, который совершает преступление из-за душевных мук, помутнения рассудка или спонтанной ненависти; и не потому, что для него такое преступление могло бы показаться неприемлемым с моральной точки зрения, а просто потому, что он вообще был неспособен *выразить себя* делами или словами. Не мог ничего делать. Он мог только терпеть.

К пяти часам пополудни он пребывал в таком безнадежном состоянии, что полагал, что больше никогда не сможет оставить это место перед колонной на третьей ступеньке входа в банк и ему придется здесь умереть. Он чувствовал себя постаревшим минимум на двадцать лет и сбавившим двадцать сантиметров роста; из-за многочасового натиска внешней жары, исходившей от солнца, и внутреннего жара, исходившего от ярости, он ощущал себя расплавленным и рыхлым, да, рыхлым даже скорее, потому что влаги пота он больше уже вообще не чувствовал, рыхлым и выветренным, опаленным и разбитым, словно каменный сфинкс, которому уже пять тысяч лет; и если бы это продолжалось так и дальше, то он бы полностью высох, выгорел, сморщился и превратился бы в песок или пепел, и лежал бы здесь на этом месте, где он сейчас все еще старательно держится на ногах, словно крошечный маленький комочек грязи, пока, в конце концов, его не сдует оттуда ветер или не сотрет уборщица, или не смоем дождь. Да, так он закончит свои дни: не как уважаемый, живущий на свою пенсию пожилой господин, дома, в собственной постели, в собственных четырех стенах, а здесь — перед воротами банка в виде

маленького комочка грязи! И пожелал, чтобы так оно и было; чтобы процесс развала ускорился и наконец-то пришла развязка. Он пожелал, чтобы он потерял сознание, чтобы он смог опуститься на колени и умереть. Он напряг все свои силы, чтобы потерять сознание и умереть. В детстве он был способен на кое-что в таком роде. Он всегда мог заплакать, когда хотел; он мог задерживать дыхание до тех пор, пока не терял сознание, или задержать ритм сердца на один удар. Сейчас же он ни на что не был способен. Он вообще ничего не мог. Он в буквальном смысле не мог согнуть колени, чтобы присесть. Единственное, что он еще мог, так это стоять там и воспринимать, что с ним происходит.

Тут он услышал тихий гул лимузина мосье Редельса. Не сигнал, а лишь тот тихий прерывающийся гул, который бывает, когда автомобиль с только что запущенным двигателем подкатывает по внутреннему двору к воротам. И пока этот слабый шум пробивался в его уши, входил в его уши и, словно электрический ток, потрескивал по всем нервам его тела, Джонатан ощутил, как что-то щелкнуло в его суставах и как выпрямился его позвоночник. И он почувствовал, как отставленная правая нога подтянулась без его участия к левой, левая нога повернулась на каблуке, правое колено согнулось для шага, затем левое, и снова правое... и как он поочередно переставлял ноги, как он и правда шел, даже — бежал, проскочил три ступеньки, пронесся пружинящим шагом вдоль стены к воротам, сдвинул решетку, стал в стойку, молодцевато поднес правую руку к козырьку фуражки и пропустил лимузин. Он проделал все это абсолютно автоматически, совсем без содействия собственной воли, его сознание участвовало во всем этом только тем, что принимало к сведению, словно регистратор, движения и все, что он делал. Единственный вклад в происшедшее самого Джонатана состоял в том, что он проводил удаляющийся лимузин мосье Редельса злым взглядом и послал ему вслед кучу немых пожеланий.

Правда затем, когда он вернулся на место своего стояния, огонь ярости в нем тоже угас, а это был последний собственный импульс. И пока он механически взбирался по трем ступенькам, иссякли последние остатки ненависти, и, когда он добрался до верха, из его глаз уже больше не струились ни злость, ни желчь, он смотрел сверху на улицу каким-то подавленным взглядом. Ему казалось, что глаза эти вовсе не его, а что будто бы сидит он сам за этими своими глазами и выглядывает из них, словно из мертвого округлого окна; да, ему казалось, что все это тело вокруг него больше совсем не его, а будто бы он, Джонатан, — или то, что от него осталось, — всего лишь крошечный сморщенный гномик,

находящийся в гигантском здании чужого тела, беспомощный карлик, заточенный внутри слишком большой и слишком сложной человеческой машины, над которой он больше не может властвовать и которой он больше не может управлять по собственной воле, но которая управляется сама собой или какими-то другими силами, если это вообще возможно. В данное мгновение она тихо стояла перед колонной — уже не с внутренним спокойствием сфинкса, а словно выставленная или вывешенная марионетка — и простояла там еще оставшиеся десять минут служебного времени до тех пор, пока ровно в семнадцать тридцать не появился на мгновение во внешних дверях из пуленепробиваемого стекла мосье Вильман и не крикнул: "Закрываемся!" Тогда марионеточная человекоподобная машина по имени Джонатан Ноэль быстро пришла в движение, зашла в банк, стала у пульта управления электрической системой блокирования двери, включила ее и стала поочередно нажимать на обе кнопки для внутренней и внешней двери из пуленепробиваемого стекла, выпуская служащих; затем вместе с мадам Рок заперла дверь запасного выхода из хранилища с сейфами, которое до того было закрыто мадам Рок вместе с мосье Вильманом, включила вместе с мосье Вильманом систему сигнализации, снова отключила электрическую систему блокировки двери, вышла вместе с мадам Рок и мосье Вильманом из банка и, после того как мосье Вильман запер внутреннюю, а мадам Рок — внешнюю дверь из пуленепробиваемого стекла, закрыла, как того требовали его обязанности, решетчатые жалюзи. Здесь она отвесила легкий, неуклюжий поклон мадам Рок и мосье Вильману, открыла рот и пожелала обоим прекрасного вечера и хороших выходных, выслушала со своей стороны наилучшие пожелания на выходные от мосье Вильмана и "До понедельника!" от мадам Рок, подождала учтиво, пока они немного отойдут, а затем влилась в поток прохожих, чтобы унести вместе с ним в противоположном направлении.

Ходьба успокаивает. В ходьбе кроется целительная сила. Регулярное переставление ног при одновременном ритмичном размахивании руками, увеличение частоты дыхания, легкое учащение пульса, необходимая для определения направления и выдерживания равновесия деятельность глаз и ушей, ощущение обдувающего кожу воздуха — все это явления, которые совершенно неотразимым образом собирают воедино плоть и дух, начищают до ; блеска и высвобождают душу, даже если она все еще так искалечена и испорчена.

Именно это происходило с раздвоившимся Джонатаном, гномиком, который спрятался в слишком большую куклу под названием тело. Все больше и больше, шаг за шагом, снова дорастал он до размеров своего тела,



ощущал его изнутри, на глазах овладевал им и, в конце концов, слился с ним воедино. Это случилось где-то на углу Рю дю Бак. Он пересек Рю дю Бак (марионетка Джонатан свернула бы здесь автоматически направо, чтобы достичь привычным путем Рю де ля Планш), оставил Рю Сен-Плясид, где располагалась его гостиница, слева и пошел дальше прямо до Рю де л'Аббе Грегуар, по ней вверх до Рю де Вожирар, а оттуда до Люксембургского сада. Он вошел в парк и сделал три круга под деревьями, вдоль изгороди по внешнему, самому длинному кольцу, там где делают пробежки любители оздоровительного бега; затем повернул на юг и поднялся по Монпарнасскому бульвару, дальше — до Монпарнасского кладбища и прошелся вокруг него, раз, второй, затем — дальше на запад к пятнадцатому округу, прошел через весь пятнадцатый округ до самой Сены, затем вверх по ней на северо-восток в седьмой и дальше — в шестой округ, все дальше и дальше — летний вечер ведь не знает конца, — а потом опять к Люксембургскому саду, когда он до него добрался, то парк уже закрыли. Он остановился перед большими решетчатыми воротами слева от здания сената. Время должно было бы быть около девяти, но на улице светло почти как днем. Грядущая ночь угадывалась только по нежной золотистой окраске света и по фиолетовому обрамлению теней. Транспортный поток на Рю де Вожирар ослабел и стал почти что спорадическим. Масса людей схлынула. Те немногие группки, которые виднелись на выходах из парка и углах улиц, быстро таяли и исчезали в виде одиноких прохожих во множестве переулков вокруг "Одеона" и вокруг церкви Сен-Сюльпис. Люди шли на вечеринку, направлялись в ресторан, спешили домой. Воздух был мягкий, улавливался слабый запах цветов. Все затихло. Париж ужинал.

Как-то сразу он ощутил, как сильно он устал. От многочасовой ходьбы болели ноги, спина, плечи, ступни ног горели в обуви. Внезапно прорезалось чувство голода, да такое сильное, что свело желудок. Он с удовольствием съел бы суп, салат со свежим белым хлебом и кусочек мяса. Ему был известен один ресторан, совсем рядом, на Рю де Канет, где все это было в меню, за сорок семь франков пятьдесят, включая обслуживание. Но не мог же он пойти туда в том виде, потном и вонючем, в каком он был, да к тому же в разорванных брюках.

Он развернулся и направился в отель. По дороге туда, на Рю д'Эсса, находилась тунисская лавка, в которой торговали всякими мелочами. Она была еще открыта. Он купил себе баночку сардин в масле, маленькую упаковку козьего сыра, грушу, бутылку красного вина и арабскую пресную булку.

Гостиничная комната была еще меньше комнаты на Рю де ля Планш, одна сторона чуть пошире двери, через которую в нееходишь, в длину — не более трех метров. Стены, правда, располагались не под прямым углом друг от друга, а, если смотреть от двери, расходились наискось друг к другу, расширяя комнату приблизительно до двух метров, а затем снова резко устремлялись навстречу и сливались у торцевой стороны в форме трехгранной ниши. Комната, таким образом, своими очертаниями напоминала гроб, она и была не намного просторнее гроба. Возле одной боковой стены стояла кровать, на другой была пристроена раковина умывальника, под ней откидное биде, в нише располагался стул. Справа от умывальника, почти под потолком, было прорублено окно, скорее маленькая застекленная форточка, выходившая в приямок, которую можно было открывать и закрывать, дергая за две тонкие веревки. Через эту форточку в гроб проникал слабый поток теплого и влажного воздуха, доносивший незначительное количество приглушенных шумов внешнего мира: звон посуды, шум туалетной воды, обрывки испанской и португальской речи, короткий смешок, надоедливый плач ребенка и иногда, очень издалека, звук автомобильного гудка.

Джонатан опустил в ночной рубашке и кальсонах на краешек кровати и приступил к ужину. В качестве стола он использовал стул, подтянув его к себе, взгромоздив на него картонный чемодан и расстелив на нем сверху пакет для покупок. Карманным ножиком он разрезал маленькие тушки сардин пополам, накалывая половинки кончиком ножа, располагал их на ломтик хлеба и отправлял весь кусок в рот. При жевании нежное, пропитанное маслом рыбье мясо перемешивалось с пресным хлебом и превращалось в превосходную на вкус массу. Не хватало разве что, пары капель лимона, подумал он — но это было уже почти что фривольное гурманство, потому что когда он после каждого кусочка отпивал из бутылки маленький глоточек красного вина, а оно процеживалось сквозь зубы и стекало по языку, то стальной, что касается его, привкус рыбы перемешивался с живым кисловатым ароматом вина столь убедительным образом, что Джонатан был уверен, что он никогда в своей жизни не ел вкуснее, чем сейчас, в этот момент. В баночке было четыре сардины, это составляло восемь кусков, степенно пережеванных с хлебом, и к этому восемь глотков вина. Он ел очень медленно. В одной газете он как-то прочитал, что быстрая еда, особенно если человек очень голоден, вредна и может привести к расстройству пищеварения или даже к тошноте и рвоте. Он потому медленно и ел, что полагал, что этот прием пищи у него последний.

Съев сардины и вымакав оставшееся в баночке масло хлебом, он приступил к козьему сыру и груше. Груша была такая сочная, что, когда он начал ее чистить, она чуть не выскользнула из рук, а козий сыр был таким спрессованным и клейким, что прилипал к лезвию ножа, во рту он внезапно оказался таким кисло-горьким и сухим, что напряглись, словно испугавшись, десна и на какой-то момент пропала слюна. Но затем груша, кусочек сладкой сочащейся груши, и все опять пришло в движение, и смешалось, и отделилось от неба и зубов, соскользнуло на язык и дальше... и снова кусочек сыра, слабый испуг, и снова примирительная груша, и сыр, и груша — было так вкусно, что он соскреб ножиком с бумаги остатки сыра и обгрыз кончики сердцевины, вырезанной перед этим из груши.

Какое-то мгновение он сидел в полной задумчивости, затем, прежде чем доесть оставшийся хлеб и допить вино, облизал языком свои зубы. Потом он собрал пустую банку, очистки, бумагу из-под сыра, завернул все это вместе с хлебными крошками в пакет для покупок, пристроил мусор и пустую бутылку в углу за дверью, снял со стула чемодан, поставил стул обратно на свое место в нишу, помыл руки и лег в кровать. Он свернул шерстяное одеяло, положил его в ногах и накрылся только простыней. Затем он выключил лампу. Стало абсолютно темно. Сверху, где было окошко, в комнату не проникал ни малейший лучик света; а только слабый, слегка отдающий гарью поток воздуха и очень, очень отдаленные шумы. Было очень душно. "Завтра я покончу с собой", — промолвил он. И уснул.

Ночью была гроза. Это была одна из тех гроз, которые выдыхаются не сразу после целой серии вспышек молнии и громовых раскатов, а длятся долго и продолжительное время сохраняют свою силу. Два часа она нерешительно перемещалась по небу, сверкала мягкими зарницами, тихонько рокотала, переходила из одной части города в другую, словно не знала, где ей собраться с силами, при этом ширилась, росла все больше и больше, затянула в конце концов подобно тонкому свинцовому покрывалу весь город, подождала еще, этим промедлением еще больше усилила свое напряжение, и никак не хотела разразиться в полную силу... Под этим покрывалом не было ни малейшего движения. В душной атмосфере отсутствовало малейшее дуновение воздуха, не шевельнется ни листик, ни пылинка, город словно зацепенел, он весь, если можно так сказать, дрожал от оцепенения, он дрожал в мучительном напряжении, словно он сам был грозой и выжидал, чтобы разразиться громом на небо.

И лишь потом, уже тогда, когда только-только начало светать, раздался, в конце концов, треск, один единственный, но такой сильный, словно взорвался весь город. Джонатан подскочил на кровати. Он услышал щелчок

не сознанием, не говоря уже о том, чтобы понять, что это раскат грома, хуже: в секунду пробуждения этот щелчок проник во все его члены ничем не прикрытым ужасом, причину которого он не знал, смертельным ужасом

Единственное, что до него дошло, был отзвук щелчка, многократное эхо и перекаты грома. Было такое впечатление, что дома снаружи рухнули, словно книжные полки, и первой его мыслью было: теперь все, вот он — конец. И он подразумевал под этим не свой собственный конец, а конец света, апокалипсис, землетрясение, атомная бомба или и то и другое вместе — в любом случае полный конец. Но потом вдруг снова воцарилась мертвая тишина. Не было слышно ни шума, ни падения, ни щелчка, ни ничего, ни эхо от ничего. И эта внезапная и тягучая тишина была откровенно еще страшнее, чем грохот гибнущего мира. Потому что теперь Джонатану почудилось, что хотя он еще и существует, то кроме него нет больше ничего, ни "напротив", ни "верха", ни "низа", ни "снаружи", ни "другого", по чему можно было бы хотя бы сориентироваться. Все восприятия, зрение, слух, чувство равновесия — все, что могло бы ему сказать, где и кто он сам есть — рухнули в абсолютную пустоту и тишину. Он ощущал еще только свое собственное, бешено колотящееся сердце и дрожание собственного тела. И еще он знал, что находится в кровати, но не знал, в какой, и где эта кровать стоит — если она вообще стоит, если она не летит куда-нибудь в бездну, потому что кажется, что она качается, и он крепко вцепился обеими руками в матрац, чтобы не вывалиться и не потерять то единственное что-то, что он держит в руках. Он искал в темноте, за что зацепиться глазами, в тишине — ушами, но ничего не слышал, ничего не видел, абсолютно ничего, что-то зашаталось в желудке, в нем начал подниматься отвратительный привкус сардин. "Только не сдаваться, — подумал он, только не блевануть, только не сейчас вывернуть себя наизнанку!" ... И потом, после ужасной вечности, он все-таки что-то увидел, точнее — крошечный слабый отблеск справа вверху, совсем чуть-чуть света. И он уставился туда и прочно держался глазами за маленькое, квадратной формы пятнышко света, отверстие, раздел между внутри и снаружи, своего рода окно в комнате... да, но в какой комнате? Это ведь не его комната! Ни за что в жизни это не может быть твоей комнатой! В твоей комнате окно расположено над тем концом кровати, где твои ноги, и не так высоко под потолком. Да это... это также и не комната в доме дяди, это — детская комната в доме родителей в Шарантоне — нет, это не детская комната, это подвал, да, подвал, ты в подвале родительского дома, ты ребенок, тебе всего лишь приснилось, что будто бы ты вырос, мерзкий старый охранник в Париже, но ты — ребенок и сидишь в подвале родительского дома, а на

улице война, и ты попался, тебя засыпало, о тебе забыли. Почему они не идут? Почему они меня не спасают? Почему такая мертвая тишина? Где другие люди? О Боже, где же другие люди? Без других людей я ведь не смогу жить!

Он был готов кричать. Он хотел криком вытолкнуть из себя в тишину это единственное предложение, что без других людей он не сможет жить, так велико было его горе, таким угнетающим был страх стареющего ребенка Джонатана Ноэля перед тем, что его покинули. Но в тот момент, когда собирался начать кричать, он получил ответ. Он услышал шум.

Что-то постучало. Тихо-тихо. Затем — снова. И в третий раз, и в четвертый, где-то наверху. А затем стук перешел в регулярную барабанную дробь, которая становилась все сильнее и сильнее, и, наконец, это стало уже вовсе не барабанной дробью, а мощным обильным шумом, и Джонатан узнал в этом шуме дождь.

И тогда все стало на свои места, и Джонатан узнал теперь светлое квадратное пятнышко форточки, выходящей в приямок, в сумрачном свете он узнал очертания гостиничной комнаты, умывальник, стул, чемодан, стены.

Он оторвал свои руки от матраца, подтянул ноги к груди и обхватил их руками. Он надолго застыл в такой скрюченной позе, прошло не менее получаса, а он все вслушивался в шум дождя.

Затем он поднялся и оделся. Ему не нужно было включать свет, он хорошо ориентировался в сумерках. Взял чемодан, пальто, зонтик и вышел из комнаты. Тихонечко спустился по лестнице. Ночной портье у регистрационной стойки спал. Джонатан прошел мимо него на цыпочках и осторожно, чтобы не разбудить, нажал на ручку дверного замка. Послышался негромкий щелчок и дверь открылась. Он вышел на улицу.

Там на улице он окунулся в прохладный серо-голубой утренний свет. Дождь уже прекратился. Но продолжало капать с крыш, и одинокие капли срывались с козырьков, на тротуарах стояли лужи. Нигде ни души, не видно было ни единой машины. Дома стояли притихшие в своей скромности, почти трогательной невинности. Казалось, что дождь смыл с них и спесь, и кичливый лоск, и всю исходившую от них угрозу. По витрине продовольственного отдела универмага "Бон Марше" прошмыгнула кошка и исчезла под убранные овощные полки. Справа на Скуар Букико потрескивали от влаги деревья. Подала голос парочка черных дроздов, их пение отражалось от фасадов домов и еще более подчеркивало тишину, в которую был окутан город.

Джонатан пересек Рю де Севр и свернул на Рю дю Бак, чтобы попасть

домой. Каждый шаг отдавал шлепком его мокрых подошв по мокрому асфальту. Идешь, словно босиком, подумал он, имея в виду скорее звук, чем ощущение скользкой влажности в обуви и носках. Для него было бы большим удовольствием снять обувь и носки и пойти дальше босиком, и если он этого не сделал, то только из-за лени, а вовсе не потому, что это показалось бы ему неприличным. Но он старательно шлепал по лужам, он старался ступать как раз посередине каждой лужи, он бежал, меняя направление, от лужи к луже, иногда он переходил даже на другую сторону улицы, потому что видел на противоположном тротуаре особенно красивую и большую лужу и плюхался своими плоскими хлюпающими подошвами в нее так, что брызги летели и на витрины, и на припаркованные здесь автомобили, и на его собственные штанины, это было восхитительно, он наслаждался этим маленьким детским свинством, словно большой вновь обретенной свободой. Он был окрылен и безгранично счастлив, когда вышел на Рю де ля Планш, вошел в дом, прошмыгнул мимо закрытой комнатки мадам Рокар, пересек внутренний двор и начал подниматься по узкой лестнице хозяйственного входа.

И лишь наверху, подходя к шестому этажу, перед концом пути его охватило нехорошее предчувствие: там наверху сидит голубь, это отвратительное животное. Он, должно быть, расположился на своих красных когтистых лапках в конце коридора, посреди нечистот и летающего пуха, и ждет, голубь, с его ужасными вывернутыми наружу глазами, он, должно быть, взлетит с щелкающим хлопком крыльев и коснется ими его, Джонатана, и нет никакой возможности уклониться в тесноте коридора...

Он поставил чемодан и остановился, хотя пройти ему осталось всего лишь пять ступенек. Отступать он не хотел. Он хотел только какое-то мгновение подождать, немножко отдышаться, дать хоть чуть-чуть успокоиться своему сердцу, прежде чем одолеть последний отрезок пути.

Он посмотрел назад. Его взгляд скользнул по овалу перил вниз в глубину лестничной клетки, и он увидел на каждом этаже лучи падающего сбоку света. Утренний свет потерял свою синеву и стал, как показалось Джонатану, золотистее и теплее. Из хозяйских комнат до него донеслись первые шумы просыпающегося дома: звон чашек, приглушенный щелчок двери холодильника, тихая музыка из радиоприемника. Затем его нос внезапно уловил напористый знакомый аромат, это был аромат кофе мадам Лассаль, и он несколько раз втянул его в себя, у него было ощущение, словно он сам пьет этот кофе. Выпив свой кофе, он двинулся дальше. Больше он нисколько не боялся.

Ступив в коридор, он сразу же, одним взглядом выхватил две вещи: закрытое окно и половая тряпка, развешенная для просушки над сливной раковиной рядом с общим туалетом. Конец коридора рассмотреть он еще не мог, тот был закрыт ослепляюще яркой полосой света, падающего от окна. Он продолжал идти, довольно успешно подавляя страх, переступил через полосу света и вошел в тень. Коридор был абсолютно пустым. Голубь исчез. Пятна на полу были вытерты. Не было больше ни перышка, ни пушиночки, которая трепетала на красном кафеле.